Жорж Сименон

Весь Мегрэ



Записки Мегрэ

Записки Мегрэ
Жорж Сименон

Аннотация
Жорж Сименон. «Записки Мегрэ»
Глава 1,. в которой я не без удовольствия пользуюсь наконец случаем, чтобы объяснить, как я познакомился с пресловутым Сименоном
Глава 2,. в которой речь идет о так называемой голой истине, ни у кого не вызывающей доверия, и об истине приукрашенной, куда более правдоподобной
Глава 3,. в которой я пытаюсь рассказать о бородатом докторе, сыгравшем известную роль в жизни моего семейства и в конечном счете повлиявшем на мой выбор профессии
Глава 4,. в которой я поедаю птифуры Ансельма и Жеральдины на глазах и под носом у дорожного ведомства
Глава 5,. в которой говорится вперемежку о башмаках с подковами, апашах, проститутках, отдушинах, тротуарах и вокзалах
Глава 6,. в которой только одно: этажи, этажи и еще этажи!
Глава 7,. в которой рассказывается об утре, праз-

ничном, как звуки кавалерийских фанфар, и о молодом человеке, уже не слишком тощем, но еще не слишком толстом
Глава 8,. в которой рассказывается о площади Вогезов и приводятся некоторые замечания госпожи Мегрэ

Аннотация

Комиссар Мегрэ, возмущенный тем, что Жорж Сименон, его приятель, пишет о нём в своих книгах, сам берётся за перо. Он должен разъяснить ошибки Сименона читателю и раскрыть перед ним в надлежащей мере историю своей жизни.

Жорж Сименон
«Записки Мегрэ»

Глава 1,
в которой я не без удовольствия пользуюсь наконец случаем, чтобы объяснить, как я познакомился с пресловутым Симеоном

Это было в 1927 или 1928 году. Память на даты у меня плохая, да я к тому же не из тех, кто тщательно записывает свои дела и поступки, — занятие, очень распространенное среди людей моей профессии и оказавшееся для некоторых из них весьма полезным, а подчас и прибыльным. Поэтому только на днях я вспомнил о тетрадях, куда жена поначалу без моего ведома, а вернее сказать, тайком подклеивала газетные статьи, где говорилось обо мне.

По всей вероятности, я даже мог бы установить точное число в связи с одним делом, доставившим нам в том году немало хлопот, но у меня не хватает духу листать эти тетради.

Да и не все ли равно? Зато я в точности помню, какая стояла погода. День был самым обычным, как всегда в начале зимы, тусклым, серењким, —

так и хочется назвать его «канцелярским», потому что в такой бесцветный день не может, кажется, случиться ничего интересного, и ты, сидя на службе, готов от скуки переворошить все папки, составить рапорты, давно ждущие своей очереди, и вообще неистово, но без радости зарыться с головой в текущие дела.

Я подчеркиваю серость и безликость этого дня вовсе не из любви к выразительным деталям, а чтобы показать, каким будничным было событие, потонувшее в прочих будничных мелочах.

Было около десяти часов утра. Оперативка закончилась полчаса назад, так как была на сей раз очень короткой.

Нынче даже самые далекие от нашей профессии люди более или менее представляют себе, что это такое — оперативное совещание в уголовной полиции, но в те времена мало кто из парижан сумел бы сказать, какое ведомство помещается на набережной Орфевр.

Так вот, ровно в девять начальники различных служб собираются по звонку в большом кабинете шефа, выходящем окнами на Сену. В этом совещании нет ничего способного поразить воображение. Идешь туда, покуривая на ходу трубку или сигарету, чаще всего с папкой под мышкой.

Рабочий день только-только набирает силу, и от каждого еще пахнет утренним кофе с молоком и рогаликами. Рукопожатия. Неторопливая беседа о том о сем, пока все не соберутся.

Потом все по очереди докладывают начальнику о происшествиях, случившихся в районе. Некоторые после доклада не садятся, стоят у окна и смотрят на автобусы и такси, бегущие по мосту Сен-Мишель.

Вопреки распространенному мнению, мы говорим между собой не только о преступниках.

— Как здоровье дочки, Приолле? Как ее корь?

Мне даже приходилось слышать, как со знанием дела обсуждались кулинарные рецепты.

Иногда, разумеется, речь идет и о более серьезных вещах, например о том, что сын такого-то министра или, скажем, депутата продолжает куролесить не зная удержу и требуется срочно, не поднимая шума, вправить ему мозги. Или о богатом иностранце, который недавно прибыл в Париж, остановился в роскошном отеле на Елисейских полях, но вызывает кое-какие опасения у правительства. Или о девочке, подобранной на улице несколько дней назад, которой до сих пор не заинтересовались родные, хотя ее снимок был напечатан во всех газетах.

Тут все свои, люди одной профессии, и события обсуждаются с чисто профессиональной точки зрения, без лишних слов, так что все выглядит очень просто. Для нас это повседневность.

— Итак, Мегрэ, вы все еще не задержали вашего поляка с улицы Бираг?

Спешу оговориться: я лично против поляков ничего не имею. Если мне случится довольно часто говорить здесь о них, это вовсе не значит, будто эта нация жестока или обладает преступными наклонностями. Просто в то время во Франции недоставало рабочих рук, и поляков ввозили тысячами для работы на северных шахтах. Их вербовали в Польше иногда целыми деревнями — мужчин, женщин и детей — и отправляли во Францию в переполненных до отказа вагонах, как некогда чернокожих рабочих.

Большинство поляков отлично работали и стали уважаемыми гражданами. И все же среди них попадались подонки, и именно они, эти подонки, доставляли нам одно время немало хлопот.

Я, может быть, несколько бессвязно рассказываю о своих тогдашних заботах, но мне хочется, чтобы читатель сразу окунулся в нашу атмосферу.

— По-моему, шеф, надо еще последить за ним

денька два-три. Он пока что ни на кого нас не вывел. А ведь рано или поздно он встретится со своими сообщниками…

— Министр торопит из-за газет…

Вечно эти газеты! И вечный страх в верхах перед газетами и общественным мнением. Преступление едва совершилось, а с нас уже требуют, чтобы виновный был найден немедленно, любой ценой. Только что не говорят: «Да суньте вы кого попало в каталажку, пока не успокоится общественное мнение!»

Я, наверное, к этому еще вернусь. Впрочем, в то утро разговор шел не о поляке, а о недавнем грабеже, совершенном новым способом, что случается не часто.

Три дня тому назад на бульваре Сен-Дени в разгар обеденного перерыва, когда закрыты почти все магазины, к небольшой ювелирной лавке подъехал грузовик. С грузовика сняли огромный ящик, поставили его вплотную к дверям лавки, и машина ушла.

Сотни людей прошли мимо, не обратив на ящик ни малейшего внимания. Но когда ювелир, перекусив, вернулся из ресторана, он озабоченно нахмурился.

Отодвинув ящик, оказавшийся неожиданно

легким, ювелир обнаружил, что в стенке его, обращенной к двери, прорезано отверстие; другое, такое же, прорезано в двери, а шкафы и касса магазина, разумеется, пусты.

Расследование такого дела не приносит славы, но требует много времени и множества людей. Грабители не оставили ни малейших следов, ни единой улики.

Способ, использованный ими, был совершенно новым, и поэтому мы не могли отнести грабителей ни к одной из категорий знакомых нам злоумышленников.

У нас в руках был лишь ящик, самый обыкновенный ящик, только очень большой, и уже три дня не менее дюжины инспекторов ходили по фабрикам, где изготовляют и используют такие ящики.

Итак, я вернулся к себе в кабинет и хотел вновь приняться за рапорт, как вдруг зазвонил внутренний телефон.

— Это вы, Мегрэ? Зайдите ко мне на минутку.

В этом тоже не было ничего удивительного. Шеф чуть-ли не каждый день вызывал меня, иногда даже по нескольку раз, помимо доклада; я знал его сызмальства, он часто проводил отпуск неподалеку от нас, в Алье, и дружил с моим

отцом.

Шеф, на мой взгляд, был и впрямь шефом в полном смысле этого слова: именно под его руководством я получил, так сказать, боевое крещение в уголовной полиции, именно он, отнюдь мне не покровительствуя, незаметно, издалека следил за моими успехами, именно он у меня на глазах, весь в черном, в котелке, надвинутом на лоб, шел один под пулями прямо к двери дома, где засел Бонно со своей шайкой, двое суток не подпуская полицию и жандармов.

Я говорю о Ксавье Гишаре, человеке с лукавым взглядом и длинными седыми волосами, придававшими ему сходство с поэтом.

— Входите, Мегрэ.

Утро было таким темным, что на письменном столе шефа горела лампа под зеленым колпаком. Сидевший в кресле у стола молодой человек встал и протянул мне руку, когда нас представили друг другу.

— Комиссар Мегрэ — месье Жорж Сим, журналист…

— Не журналист, а романист, — поправил молодой человек, улыбаясь.

Ксавье Гишар тоже улыбнулся. Одной из своих улыбок, отражавших все оттенки его мысли. Не

чужд он был и своеобразной иронии, но ее замечали только те, кто хорошо его знал, другие же часто принимали за наивность.

Он обратился ко мне с очень серьезным видом, будто говорил о чрезвычайно важном деле или весьма значительной персоне:

— Как романист, месье Сим желал бы ознакомиться с работой уголовной полиции. Он мне сейчас сообщил, что развязка многих человеческих трагедий происходит здесь, у нас. Он также объяснил мне, что его не столько интересует механика расследования, которую он изучил по другим источникам, как обстановка, в которой протекают наши операции.

Я искоса поглядывал на молодого человека лет двадцати четырех с виду, худого, почти такого же длинноволосого, как шеф, и мог бы пока сказать о нем одно — этот молодой человек, видимо, ни в чем не сомневался, и уж меньше всего в себе.

— Вы, разумеется, не откажетесь показать ему наше учреждение, Мегрэ?

Я уже двинулся было к двери, когда пресловутый Сим заявил:

— Прошу прощения, месье Гишар, но вы забыли сказать комиссару…

— Ах да! Вы совершенно правы. Месье Сим, как

он только что сам подчеркнул, не журналист. Следовательно, нам не надо опасаться, что он сообщит в газеты то, что не должно попасть в печать. Он сам обещал мне, без просьб с моей стороны, что использует все, что здесь увидит и услышит, только в своих романах, и притом в достаточно измененном виде, чтобы не причинить нам неприятностей.

Я еще и сейчас слышу, как шеф веско добавил, уткнувшись в бумаги:

— Можете ему доверять, Мегрэ. Он дал мне слово.

Должен сказать, что Сим ловко подобрал ключи к Ксавье Гишару, — я уже тогда это почувствовал, а впоследствии получил тому подтверждение. И помогла ему не только его молодая дерзость, но еще кое-что, о чем я узнал много позже. Дело в том, что шеф, помимо работы, увлекался археологией. Он состоял членом нескольких научных обществ и написал пространный труд (я так его и не прочел) о далеком прошлом Парижского района.

Наш Сим об этом узнал — случайно или нет, не скажу — и постарался с шефом на эту тему побеседовать.

Уж не потому ли меня и пригласили?

На набережной Орфевр чуть ли не каждый день кто-нибудь попадает «в наряд на гостя». Посещают нас либо важные иностранцы, так или иначе связанные с полицией своей страны, либо просто видные избиратели, приехавшие из провинции и с гордостью предъявляющие карточку своего депутата.

Это стало для нас обычным. И очень напоминало осмотр исторических памятников, не хватало только пояснительного текста, кое-как заученного наизусть гидом.

Как правило, гостями занимается кто-нибудь из инспекторов, и побеспокоить начальника оперативной группы могут только ради знаменитости первой величины.

— Если хотите, — предложил я, — поднимемся сперва в антропометрический отдел.

— Я предпочел бы начать с дежурки, если это вас не слишком затруднит.

Это был первый сюрприз. Впрочем, говорил он очень дружелюбно и, взглянув на меня, откровенно добавил:

— Видите ли, мне хочется пройти тем же путем, которым обычно следуют ваши подопечные.

— В таком случае надо начать с камеры предварительного заключения, потому что большин-

ство из них там ночует, прежде чем попасть к нам.

— Я осмотрел ее прошлой ночью, — сообщил он как ни в чем не бывало.

Он ничего не записывал. При нем не было ни блокнота, ни ручки. Несколько минут он постоял в приемной, где висят в черных рамках фотографии полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

— Сколько же их умирает в среднем за год?

Потом ему вздумалось посмотреть мой кабинет. Случилось так, что в эти дни там шел ремонт. Я временно занимал маленькую комнату на первом этаже, самого старомодного канцелярского вида, пыльную, с мебелью черного дерева и печуркой, какие и сейчас еще можно порой увидеть на провинциальных вокзалах.

Это был тот самый кабинет, где я, начав инспектором свою службу в полиции, просидел лет пятнадцать и, сознаюсь, с тех пор сохранил нежные чувства к этой круглой печке, докрасна раскалявшейся в зимние дни, так как я набивал ее углем по самую трубу, и это было вовсе не чудачество, а скорее сознательный прием, чуть ли не уловка. Во время трудного допроса я вставал и принимался подолгу шуровать в печке кочергой,

потом с грохотом подбрасывал уголь, сохраняя самый благодушный вид, а подследственный тем временем в недоумении смотрел на меня.

Когда я наконец переселился в современный кабинет с центральным отоплением, я стал скучать по своей старой печурке, но никогда не просил разрешения — мне бы все равно отказали — забрать ее с собой на новое место.

Посетитель рассматривал мои трубки, пепельницы, черные мраморные часы на камине, эмалированный фонтанчик с питьевой водой за дверью, полотенце, пахнувшее, как всегда, мокрой псиной.

Он не задавал никаких вопросов, касающихся следствия. Папки с делами, по-видимому, его тоже не интересовали.

— Вот эта лестница ведет в лабораторию.

Там он окинул взглядом застекленную крышу, стены, пол, манекен, которым иногда пользуются при воссоздании картины преступления, однако и сама лаборатория с ее сложной аппаратурой, и то, чем в ней занимались, не возбудили его любопытства.

Я было начал по привычке объяснять:

— Если увеличить в несколько сот раз любой написанный от руки текст и сравнить его…

— Знаю, знаю.

И тут он, будто между прочим, спросил меня:

— Вы Ганса Гросса читали?

Я даже имени его никогда не слышал. Впоследствии я узнал, что это австрийский следователь, который впервые, кажется в 1880 году, ввел курс научной криминалистики в Венском университете.

А вот мой гость читал два толстых тома, написанных этим австрийцем. Он вообще все на свете читал, в том числе множество книг, о которых я и понятия не имел, и теперь небрежно перечислял их названия.

— Пройдемте в эту галерею, я покажу вам картотеку, где мы храним…

— Знаю, знаю.

Он начинал меня раздражать. Можно было подумать, что меня оторвали от работы только для того, чтобы он разглядывал стены, потолки, пол, всех нас, словно составляя в уме инвентарный список.

— Сейчас, наверное, в антропометрическом отделе горячая пора. С женщинами, должно быть, закончили. Настала очередь мужчин…

Человек двадцать обнаженных мужчин, задержанных ночью, ожидали своей очереди на обмер

и фотографирование.

— В общем, — сказал молодой посетитель, — мне осталось осмотреть спецлазарет предварительного заключения.

Я нахмурился:

— Туда посторонних не пускают.

В этом отделении, мало кому известном, судебно-медицинские эксперты подвергают преступников и подозреваемых различным психологическим тестам.

— А Поль Бурже обычно бывал на этих обследованиях, — спокойно ответил посетитель. — Я попрошу разрешения.

Словом, никаких особых воспоминаний это посещение у меня не оставило, как и вообще тот день, серый и пасмурный. Я не поторопился спровадить гостя только потому, что мне его рекомендовал шеф, и еще потому, что никаких важных дел у меня не было и надо было как-то убить время.

Он снова зашел ко мне в комнату, уселся, протянул мне кисет:

— Вижу, вы тоже курите трубку. Люблю курильщиков трубок.

У меня на столе, как всегда, было разложено с полдюжины трубок, и Сим рассматривал их с

видом знатока.

— А каким делом вы теперь заняты?

Вполне профессионально я изложил ему историю с ящиком у двери ювелирного магазина и добавил, что такой прием использован грабителями впервые.

— Нет, — возразил он, — впервые с подобным ограблением столкнулись восемь лет назад в Нью-Йорке, в магазине на Восьмой авеню.

Вероятно, он был доволен собой, но, надо отдать ему должное, не зазнавался. Он с серьезным видом покуривал трубку, будто желая прибавить себе лет десять, чтобы держаться на равной ноге с человеком зрелым, каким я уже был тогда.

— Видите ли, господин комиссар, профессионалы меня не интересуют. Их психология не представляет проблемы. Эти люди делают свое дело — и все.

— Кто же вас интересует?

— Обыкновенные люди, такие, как мы с вами, которые в один прекрасный день неожиданно для себя совершают убийство.

— Таких очень мало.

— Знаю.

— Если не считать убийств из ревности.

— Убийства из ревности меня тоже не инте-

ресуют.

Вот, пожалуй, и все, что осталось у меня в памяти от этой встречи. Вероятно, в разговоре я упомянул между прочим об одном расследовании, которое вел несколько месяцев назад, упомянул потому, что в этом деле с жемчужным ожерельем были замешаны не профессионалы, а молодая девушка.

— Благодарю вас, господин комиссар. Надеюсь иметь удовольствие еще встретиться с вами.

Я же про себя подумал: «Надеюсь избежать этого удовольствия». Прошло несколько месяцев. Как-то в середине зимы в главном коридоре уголовной полиции я заметил фигуру пресловутого Сима — он прохаживался там, поджидая кого-то.

А потом в одно прекрасное утро на моем столе рядом с почтой оказалась книжица в ярко раскрашенной обложке, вроде тех, что продают в газетных киосках и так любят читать модистки. Называлась она «Девушка с жемчугами», автором был Жорж Сим.

Мне и в голову не пришло прочесть ее. Я вообще мало читаю и никогда не интересуюсь литературой такого рода. Не помню даже, куда я дел эту книжонку, напечатанную на прескверной бумаге, — должно быть, бросил в мусорную корзину и

на несколько дней думать о ней забыл.

Но однажды утром я опять увидел книжку Сима на том же месте, и с тех пор каждое утро она появлялась у меня на столе рядом с письмами. Довольно долго я не замечал, что мои инспектора, в особенности Люка, поглядывают на меня с усмешкой. Наконец как-то в полдень за аперитивом в пивной «У дофины» Люка сказал мне после нескольких не относящихся к делу фраз:

— Ну вот, шеф, о вас уже романы пишут! — И вытащил книжонку из кармана. — Читали?

Он признался, что это Жанвье, в ту пору самый молодой в нашей бригаде, каждое утро подсовывает мне по экземпляру.

— Кое-какие ваши черточки здорово подмечены, сами увидите!

И ведь он был прав! Было, было сходство, такое же, как между живым человеком и карикатурой, нацарапанной любителем на мраморном столике кафе.

Я стал толще, грузнее, чем на самом деле, одним словом, приобрел, так сказать, порядочный вес. Что касается дела, то оно изменилось до неузнаваемости, и мне в ходе расследования приходилось пользоваться приемами весьма неожиданными.

В тот же вечер я увидел книжонку в руках

жены.

— Вот, молочница принесла. Говорит, что тут про тебя написано. Я еще не успела прочитать.

Ну что было делать? Пресловутый Сим сдержал обещание: он не написал статью в газете, но и серьезную книгу тоже, а просто пустую книжонку, которую смешно было бы принимать всерьез.

Он не изменил моей фамилии. Но он мог бы возразить, что на свете, вероятно, немало людей, носящих фамилию Мегрэ. Поэтому я дал себе слово держаться с ним возможно суше, если нам придется встречаться, хотя полагал, что вряд ли он еще сунется в уголовную полицию.

Но тут я ошибся. Как-то я пошел к шефу посоветоваться насчет одного дела и едва постучался, как он крикнул:

— Входите, Мегрэ, входите! Я как раз собирался звонить вам. У меня наш приятель Сим.

А на лице нашего приятеля Сима — ни тени смущения. Напротив, расселся как дома со здоровенной трубкой во рту.

— Как поживаете, господин комиссар?

А Гишар мне объясняет:

— Он только что прочитал мне несколько отрывков из одной своей вещи про нашу фирму.

— Знаю.

Глаза Ксавье Гишара смеялись, и, по-моему, на этот раз он потешался надо мной.

— К тому же он рассказал мне кое-что немаловажное, касающееся и вас. Сейчас он это повторит.

— Все очень просто. До сих пор во французской литературе, за редким исключением, преступник вызывал симпатии читателя, полиция же представала в смешном виде, если не хуже.

Гишар одобрительно кивал:

— Верное замечание, правда?

Разумеется, верное. Так было не только в литературе, но и в жизни. У меня надолго остался неприятный осадок после одного случая. Я тогда только начал служить в полиции и дежурил на улицах. Однажды у выхода из метро я собрался схватить карманника, но он завопил что-то, кажется «Держи вора!».

Немедленно на меня набросилось человек десять. Я им объяснил, что я полицейский и от меня уходит вор-рецидивист. Убежден, что мне поверили. Тем не менее постарались задержать меня, предоставив таким образом карманнику возможность смыться.

— Ну вот! — продолжал Гишар. — Наш друг Сим как раз и собирается написать серию романов,

где полиция выступит в надлежащем свете.

Я поморщился, и это, разумеется, не могло ускользнуть от шефа.

— В надлежащем, насколько это вообще возможно, — поправился он. — Понимаете? А книга эта — только набросок для следующих.

— Но он использовал в книге мою фамилию!

Я думал, молодой человек смутится, рассыплется в извинениях. Ничуть не бывало.

— Надеюсь, вы не обиделись, господин комиссар? Это случилось помимо моей воли. Едва герой соединится в моем воображении с тем или иным именем, я не могу называть его иначе. Я перепробовал самые невероятные сочетания слогов, чтобы найти подходящую замену фамилии Мегрэ, и в конце концов отказался от этой затеи. Получался не мой персонаж.

Он совершенно спокойно произнес слово «мой», и самое поразительное, что я и не подумал возмутиться, возможно, из-за хитрой усмешки в глазах Ксавье Гишара, который в упор смотрел на меня.

— На этот раз речь идет не о развлекательном чтиве, а о том, что называется… как вы это назвали, месье Сим?

— Полухудожественная литература.

— И вы рассчитываете, что я…

— Я хотел бы с вами поближе познакомиться.

Я уже говорил, что он ни в чем не сомневался. В этом, наверное, и была его сила. Именно поэтому он, должно быть, перетянул на свою сторону шефа, которого всегда интересовали новые разновидности рода людского и который вполне серьезно мне заявил: «Ему ведь только двадцать четыре года».

— Мне трудно создавать персонаж, если я не знаю, как он ведет себя в то или иное время суток. Я, скажем, ничего не могу написать о миллиардерах, пока не увижу своими глазами, как один из них в халате ест на завтрак яйцо всмятку.

Немало прошло времени с того разговора, и до сих пор мне непонятно, по какой таинственной причине мы с шефом серьезно все это выслушали и не расхохотались.

«Получше узнать вас, поглядеть, как вы живете и работаете».

Разумеется, шеф ничего мне не приказывал. В противном случае я бы, наверное, взбунтовался. К тому же некоторое время мне казалось, что он меня разыгрывает, — в нем еще сидел обитатель Латинского квартала тех времен, когда там любили шутку.

Наверное, чтобы не подать виду, будто я прини-

маю разговор всерьез, я пожал плечами и сказал:

— Пожалуйста. Когда вам угодно.

Тут этот самый Сим вскочил с кресла в полном восторге:

— Сейчас же!

Повторяю, сегодня, по прошествии многих лет, все это может показаться смешным. Доллар стоил в те дни баснословно дорого. Американцы прикуривали от тысячефранковых билетов. Негры-музыканты задавали тон на Монмартре, а драгоценности перезрелых богачек становились добычей аргентинских наемных танцоров. Роман «Незамужняя» выходил неслыханными тиражами, и полиция нравов уже не в силах была справиться с пьяными оргиями в Булонском лесу, да и вмешивалась нехотя, боясь потревожить досуг резвящихся иностранных дипломатов.

Женщины носили короткую стрижку и короткие платья, мужчины — остроносые ботинки и брюки-дудочки.

Знаю, этим ничего не объяснишь. Но все на свете связано между собой. И я будто сейчас вижу, как наш юный Сим является поутру ко мне в кабинет, ни дать ни взять один из моих инспекторов, приветливо говорит: «Не буду вам мешать», — и садится в уголок.

Он по-прежнему не делал заметок. Почти не задавал вопросов. Напротив, предпочитал высказывать собственное мнение. Впоследствии он объяснил, но вовсе не убедил меня, что куда больше можно узнать о человеке по его реакции на чье-то высказывание, чем по его ответу на конкретный вопрос.

Однажды в полдень, когда мы с Люка и Жанвье направились, как обычно, в пивную «У дофины» выпить по аперитиву, он увязался за нами.

Потом как-то утром на оперативке я заметил его в кабинете шефа, в уголке.

Так прошло несколько месяцев. И когда я его спросил, что он пишет, он ответил: «Все романчики, зарабатываю на хлеб. С четырех до восьми утра. В восемь часов мой рабочий день кончен. А к полухудожественной литературе приступлю, как только почувствую, что созрел».

Уж не знаю, что он хотел этим сказать. Только внезапно он перестал бывать на набережной Орфевр, после того как я пригласил его позавтракать в воскресенье у меня, на бульваре Ришар-Ленуар, и познакомил его с женой.

Было странно не видеть больше, как он сидит в уголке, встает, когда я встаю, выходит, когда я выхожу, и следует за мной по пятам из кабинета

в кабинет.

А весной я получил неожиданное послание, гласившее:

> «Жорж Сим имеет честь пригласить Вас на освящение своего судна „Остгот“, которое совершит господин кюре из собора Нотр-Дам в сквере Вэр-Галан в будущий вторник».

Я не пошел. А потом от полицейских того квартала узнал, что какие-то молодчики три дня и три ночи бесновались как одержимые на борту суденышка, пришвартованного в самом центре Парижа и парадно расцвеченного флагами.

Однажды, проходя по Новому мосту, я увидел вышеупомянутое судно, у мачты сидел некто в фуражке капитана дальнего плавания и бойко стучал на машинке.

Через неделю судно исчезло, и сквер Вэр-Галан обрел свой обычный вид.

Спустя примерно год я получил еще одно приглашение, отпечатанное на этот раз на одной из наших дактилоскопических карточек:

> «Жорж Сименон имеет честь пригласить вас на антропометрический бал в

„Буль-Бланш“, который он устраивает в честь запуска серии полицейских романов».

Сим-то уже стал Сименоном! Точнее, почувствовав себя, по всей вероятности, взрослым, решил называться своим настоящим именем.

Меня это не интересовало. Я не пошел на вышеупомянутый бал, а на другой день узнал, что там присутствовал сам префект полиции. Узнал я об этом из газет.

В тех же газетах на первой полосе сообщалось, что комиссар Мегрэ совершил сенсационное вступление в полицейскую литературу.

В то утро, поднимаясь по главной лестнице нашего здания, я то и дело ловил на себе насмешливые взгляды, многие отворачивались, пряча улыбку.

Инспектора изо всех сил старались сохранить серьезность. И во время оперативки все обращались со мной с нарочито подчеркнутым уважением.

Только шеф держался как обычно и рассеянно спросил:

— Итак, Мегрэ, какие у вас новости?

В лавках квартала Ришар-Ленуар каждый про-

давец счел своим долгом показать моей жене газету, где красовалось мое имя, набранное крупным шрифтом, и почтительно спросить:

— Это ведь ваш муж, правда?

Увы, это был я!

Глава 2,
в которой речь идет о так называемой голой истине, ни у кого не вызывающей доверия, и об истине приукрашенной, куда более правдоподобной

Когда стало известно, что я начал писать эти заметки, а издатель Сименона взялся их напечатать, даже не прочитав, — к тому времени я еще не закончил и первой главы, — большинство моих друзей встретило эту новость одобрительно, хотя и с некоторым замешательством. Я уверен, что про себя они думали: «Вот и Мегрэ не устоял!»

И действительно, за последние несколько лет по крайней мере трое моих сверстников, когда-то работавших со мной, написали и издали свои воспоминания.

Спешу добавить, что в этом они только следовали старой традиции полицейских Парижа, традиции, которая подарила нам мемуары Масэ и великого Горона, в свое время возглавлявших Сюрте — так называли тогда полицию. А вот са-

мый прославленный из всех, легендарный Видок, не оставил, к сожалению, никаких заметок, и мы лишены возможности проверить, насколько точно воссоздали его образ писатели, в чьих романах он выступает то под собственным именем, то под вымышленным, например у Бальзака — под именем Вотрэна.

Не мое дело защищать моих коллег, но все же я должен ответить на одно замечание, которое часто приходится слышать: «Как почитаешь эти мемуары, сразу видишь: ни одного громкого дела они бы не раскрыли, если б не брались за него по меньшей мере втроем».

Особенно часто упоминают при этом дело Месторино, в свое время немало нашумевшее.

Скажем прямо, не обошлось тогда и без меня, ибо расследование такого масштаба требует объединенных усилий всех служб. Что касается последнего допроса, знаменитого допроса, тянувшегося двадцать четыре часа, на который и теперь нередко ссылаются, то мы вели его не втроем, а вшестером, сменяя друг друга, задавая снова и снова одни и те же вопросы, всякий раз поставленные по-иному, и продвигаясь вперед черепашьим шагом.

И вряд ли найдется человек, способный точно

определить, кто из нас и в какую минуту нажал нужный рычажок и добился наконец признания.

Должен, впрочем, заявить, что название «Записки» выбрал не я, появилось оно в последнюю минуту, когда ничего лучшего придумать не удалось.

Так же обстоит дело (подчеркиваю это по ходу правки корректуры) с названиями глав, с тем, что называют, как я узнал, подзаголовками, — издатель попросил у меня разрешения добавить их, как он любезно пояснил, «из типографских соображений», на самом же деле, мне думается, с их помощью он надеялся несколько оживить мои писания.

Из всех обязанностей, выпавших мне на набережной Орфевр, я отлынивал только от одной — от составления докладных записок. Должно быть, мешало наследственное стремление к точности и добросовестности, донимавшее когда-то моего отца, а впоследствии и меня.

Я часто слышал шутку, ставшую почти классической:

— В докладах Мегрэ основное место занимают скобки!

Беда в том, что я слишком многое стараюсь

объяснить, ищу объяснение решительно всему и все мне кажется сложным и запутанным.

Если под «Записками» понимать рассказ о событиях, в которых я принимал участие в течение всей моей службы в полиции, боюсь, читатель будет разочарован.

За истекшие полстолетия наберется едва ли двадцать дел, поистине сенсационных, в том числе уже упомянутые мною дело Бонно, дело Месторино, дело Ландрю, дело Сарэ и несколько других.

О них мои коллеги, а иногда и мои бывшие начальники уже успели подробно рассказать.

Что касается других расследований, безусловно интересных, но не наделавших шума, ими занялся Сименон.

Вот я и подошел к тому, о чем собирался сказать, засев за эту рукопись, то есть о главной причине, побудившей меня писать мемуары, не похожие на всё, что было написано в этом жанре, но не имею ни малейшего представления, как выразить свою мысль.

Как-то я прочитал в газете, что Анатоль Франс, обладавший, без сомнения, недюжинным и ироническим умом, позировал художнику Ван-Донгену, а когда портрет был закончен, не только

отказался взять его, но даже запретил художнику его выставлять.

Примерно в те же годы знаменитая актриса подала в суд на карикатуриста, исказившего, как она полагала, ее облик, что могло повредить ее карьере.

Я, конечно, не член Французской академии и не известная актриса. И не считаю себя человеком чрезмерно обидчивым. Ни разу за все годы службы в полиции я не обращался с опровержением в газеты, которые охотно критиковали мои поступки, действия и методы.

В наше время не каждый может заказать художнику свой портрет, зато каждому довелось хотя бы раз иметь дело с фотографом. И я полагаю, что всем знакомо неприятное чувство, которое охватывает человека при взгляде на свое изображение, всегда страдающее неточностью.

Вы понимаете, что я имею в виду? Мне даже неловко останавливаться на этом. Я знаю, что затрагиваю исключительно важный и болезненный для себя вопрос, и вот редкий случай! — меня одолевает боязнь показаться смешным.

Пожалуй, меня бы мало тронуло, если бы мои черты были изменены до неузнаваемости, пусть даже получилась бы злая карикатура.

Но я возвращаюсь к сравнению с фотографией. Объектив не допускает полного искажения. Изображение и похоже на вас, и не похоже. Вам показывают снимок, и вы чаще всего не можете точно определить обидную для вас черту, сказать, что же тут не ваше, что именно вы не признаете за свое.

Так вот, в течение нескольких лет я испытывал именно эти чувства из-за симеоновского Мегрэ, день за днем выраставшего подле меня, пока наконец одни стали совершенно искренне спрашивать меня, уж не подражаю ли я его повадкам, а другие — ношу ли я в самом деле свою фамилию или позаимствовал ее из романов.

Я пытался, как умел, объяснить, что все началось, в сущности, безобидно, ведь и в голову тогда не приходило, к чему это приведет.

При виде юнца, представленного мне однажды в кабинете моего друга Ксавье Гишара, я мог скорее пожать плечами, нежели почувствовать тревогу.

А между тем несколько месяцев спустя меня словно зацепила шестерня какой-то машины, из которой я вряд ли когда-нибудь сумею вырваться даже с помощью этих исписанных мною листков.

— А на что вы, собственно, жалуетесь? Вы стали знаменитостью!

Знаю! Знаю! Так говорит тот, кто этого не пережил.

Готов даже согласиться, что в иные минуты и при иных обстоятельствах это не так уж неприятно. И не только для самолюбия. Я имею в виду и сугубо житейскую сторону дела. Судите сами! Вам уступают хорошее место в переполненном поезде или ресторане, вас пропускают без очереди.

За все минувшие годы я ни разу не выразил своего недовольства, точно так же как не посылал опровержений в газеты. И не собираюсь теперь вдруг объявить, что все это время кипел от негодования. Это было бы преувеличением, а преувеличения я ненавижу.

Тем не менее я дал себе слово высказать в один прекрасный день спокойно, без раздражения и злости то, что у меня накопились, чтобы раз и навсегда поставить все на свое место.

Этот день настал.

Откуда же взялось название «Записки»? Повторяю, за название я не в ответе, не я его выбирал.

Речь здесь пойдет вовсе не о Месторино, не о Ландрю и не о том адвокате из Центрального массива, который избавлялся от своих жертв,

погружая их в ванну с негашеной известью.

Просто я хочу сопоставить один персонаж с другим, одну истину с другой.

Сейчас вы узнаете, как понимает кое-кто слово «истина».

Было это в самом начале, в те дни, когда антропометрический бал и другие увеселения, столь же эффектные, сколь безвкусные, ознаменовали выход в свет книг, уже тогда именовавшихся «первыми Мегрэ», — это были два томика: «Повесившийся на вратах церкви Сен-Фольен» и «Господин Галлэ скончался».

Не скрою, я тотчас же прочитал оба. Отлично помню, как назавтра является ко мне в кабинет Сименон, весьма довольный собой, еще более, если только возможно, в себе уверенный, но все же с едва заметной тревогой в глазах.

— Я знаю, что вы сейчас скажете! — заявил он, едва я успел раскрыть рот. И принялся объяснять, расхаживая по комнате: — Мне известно, что в моих книгах полно неточностей. И не стоит их перечислять. Знайте же, что они вставлены мною совершенно сознательно, и я сейчас скажу вам для чего!

Я не запомнил всех его рассуждений, но в памяти засела основная мысль, которую он и

впоследствии неоднократно повторял с наслаждением, не лишенным садизма:

— Истина всегда неправдоподобна. И я не имею в виду только литературу или живопись. Не стану приводить в пример дорические колонны, на вид идеально ровные, хотя это впечатление достигается тем, что они слегка вогнуты. А будь они ровные, наш глаз видел бы их вздутыми, понимаете? — В ту пору он еще любил щегольнуть эрудицией. — Расскажите кому-нибудь любое происшествие. Если вы его не приукрасите, оно покажется невероятным, вымышленным. Но стоит приукрасить — и происшествие получится куда правдоподобней, чем было в действительности. — Последние слова он провозгласил, словно величайшее открытие: — Правдоподобней, чем в действительности, вот в чем суть! Вот и вы у меня стали правдоподобней, чем в действительности.

Я онемел. Да, в тот миг бедняга комиссар, «неправдоподобный» комиссар, не нашел что сказать.

А Сименон, бурно жестикулируя, с чуть заметным бельгийским акцентом доказывал мне, что мои расследования под его пером становятся куда более убедительными, — уж не сказал ли он «более точными»? — чем в действительности.

Уже во время наших первых встреч, осенью, самоуверенности у него было предостаточно. Теперь, когда к нему пришел успех, самоуверенность била через край, ее с избытком хватило бы на всех тихонь, какие только есть на свете.

— Слушайте внимательно, комиссар… — Он уже обращался ко мне запросто. — Когда объявляется розыск, за преступником гоняется подчас человек пятьдесят, если не больше. Не только вы идете по следу с вашими инспекторами — подняты на ноги полиция и жандармерия всей страны. Поджидают его и на вокзалах, и на пристанях, и на границах. Я уж не говорю о платных осведомителях, тем паче о добровольцах, которые тоже включаются в игру. Попробуйте-ка на двухстах-двухстах пятидесяти страницах более или менее точно изобразить этот сумбур! Тут не хватит и многотомного романа, а читатель после первых же глав потеряет нить, и в голове у него все смешается и перепутается. Теперь скажите, кто в действительности не дает случиться путанице? Кто каждое утро расставляет всех по местам и держит в руках путеводную нить? — Он окинул меня торжествующим взглядом. — Не кто иной, как вы, и вам это отлично известно! Тот, кто ведет расследование. Разумеется, я знаю, что комиссар

уголовной полиции, начальник оперативной группы не бегает сам по улицам и не расспрашивает консьержек и виноторговцев. Знаю также, что лишь в исключительных случаях вы проводите ночь на пустынной улице под проливным дождем, поджидая, когда зажгут свет в нужном вам окне или приоткроют нужную вам дверь. Тем не менее все идет так, будто вы находитесь в самом важном месте, верно?

Что тут ответишь? С определенной точки зрения это было логично.

— Итак, упрощение! Первое и главное достоинство истины — простота! Вот я и упрощаю. Я свожу к простейшим действиям работу всего вашего механизма, но в результате ничего не меняется. Там, где беспорядочно толклись пятьдесят ничем не примечательных инспекторов, я ставлю трех или четырех, наделенных характерными чертами.

Я пытался возразить:

— Остальным будет обидно.

— Но я пишу романы вовсе не для нескольких десятков сотрудников уголовной полиции. Когда пишешь книгу об учителях, как ни старайся, на тебя непременно обидятся десятки тысяч учителей. То же самое случится, если станешь писать

о железнодорожниках или машинистках. Да, так о чем мы?

— О различных видах истины.

— Я старался вам доказать, что моя истина — единственно стоящая. Хотите еще пример? Даже не проведя здесь столько времени, сколько провел я, можно узнать, что уголовная полиция, входящая в полицейскую префектуру, действует только в пределах Парижа и лишь в отдельных случаях в департаменте Сена. Между тем в «Господин Галлэ скончался» я рассказываю о следствии, которое велось в Центральной Франции. Ездили вы туда?

Конечно ездил.

— Да, это верно, но ведь я тогда…

— Тогда вы временно служили на улице Соссе. Зачем забивать читателю голову этими административными тонкостями? Неужели надо начинать описание каждого дела пояснением: это происходило в таком-то году, стало быть, Мегрэ состоял тогда, при таком-то отделе.

— Дайте мне договорить…

Он гнул свое и знал, что сейчас коснется моего слабого места:

— Скажите, по своим привычкам, поведению, характеру вы сотрудник набережной Орфевр или

улицы Соссе?

Прошу прощения у коллег из Сюрте, среди которых я насчитываю немало добрых друзей, но должен признать, и это отнюдь не открытие, что между двумя названными ведомствами существует, мягко выражаясь, своего рода соперничество.

Приходится также признать — Сименон это понял с самого начала, — что существует два типа полицейских чиновников и различие между ними в те времена было особенно заметным.

Полицейские с улицы Соссе непосредственно подчинены министру внутренних дел и вынуждены силой обстоятельств заниматься политическими делами. Я их вовсе не осуждаю за это. Просто признаюсь, что не хотел бы браться за подобные дела.

Наша сфера, полицейских с набережной Орфевр, возможно, более ограниченна, более низменна. Мы имеем дело со всякого рода злоумышленниками, с тем, что неизменно соотносится у людей со словами «уголовная полиция».

— Без сомнений, вы человек с набережной Орфевр. И гордитесь этим. Так вот! Я и сделал вас человеком с набережной Орфевр. Я старался показать вас как воплощение такого рода человека.

Неужели я должен ради мелких подробностей и только потому, что вы помешаны на точности, жертвовать достоверностью образа, разъясняя читателю, что в таком-то году в силу разного рода сложных обстоятельств вы временно сменили место работы и это дало вам возможность разъезжать по Франции?

— Но…

— Минутку. Когда мы с вами впервые встретились, я вам сказал, что я романист, а не журналист, и еще, как мне помнится, обещал месье Гишару, что никогда не навлеку неприятностей на его ведомство сколько-нибудь непозволительной нескромностью.

— Я знаю, но…

— Да постойте же, Мегрэ, черт возьми!

Впервые он так ко мне обращался. И впервые этот юнец приказывал мне замолчать.

— Я изменил все имена, кроме вашего и еще двух-трех ваших сотрудников. Я старался также изменить место действия. Иногда, из пущей предосторожности, я менял все, что касается семейных отношений моих персонажей. Я упрощал все, что мог, и подчас из четырех-пяти допросов у меня сохранялся всего один, а из десяти ваших улик я оставлял не более двух или трех. Я утвер-

ждаю, что я прав и моя истина — единственно верная. И вот вам доказательство. — Он указал на груду книжечек, которые выложил на мой письменный стол незаметно для меня. — Это книги, написанные специалистами, о полицейских расследованиях за последние двадцать лет, правдивые рассказы, основанные на столь любезной вам истине. Почитайте-ка. Большинство дел, подробно изложенных в этих книгах, вам знакомо. Так вот, готов поспорить, что вы их не узнаете, и не узнаете потому, что чрезмерное стремление к объективности искажает истину, которая всегда проста, должна быть простой. А теперь…

Ладно! Лучше сразу признаться. В эту самую минуту я и понял, на какую ногу хромаю. Он был прав, черт его побери, прав во всем, о чем говорил! Мне, как и ему, было наплевать на то, что в его книгах стало меньше инспекторов, и на то, что он выпустил меня вместо них на залитые дождем ночные улицы и спутал, умышленно или нет, Сюрте с уголовной полицией. А вот что меня и впрямь коробило и в чем я все еще не решался признаться себе — это…

Бог ты мой! До чего же трудно! Вспомните мои слова о человеке, рассматривающем собственную фотографию.

Возьмем для примера шляпу-котелок. Смейтесь сколько угодно, а я все-таки откровенно скажу: эта дурацкая мелочь задела меня куда больше, чем все другие.

Когда юный Сим впервые появился на набережной Орфевр, у меня в шкафу еще хранился котелок, но надевал я его редко, лишь в особых случаях: на похороны или официальные церемонии.

Однако в моем кабинете висела фотография, сделанная несколькими годами раньше во время какого-то торжественного сборища, уж не помню, какого именно, и на этом снимке я красовался в проклятом котелке.

Поэтому даже теперь, когда меня знакомят с людьми, не видевшими меня прежде, они неизменно восклицают: «Э, шляпа-то у вас теперь не та!»

А вот насчет знаменитого пальто с бархатным воротником Сименону пришлось объясняться уже не со мной, а с моей супругой.

Скажу прямо, было у меня такое пальто в свое время. Было их даже несколько, как у всех мужчин моего поколения. Возможно, мне и довелось году в двадцать седьмом в сильный холод или проливной дождь снять с вешалки одно из этих

старых пальто.

Я не франт. На элегантность не претендую. И возможно, как раз по этой причине терпеть не могу выделяться. Мой скромный портной, еврей с улицы Тюренн, тоже не имеет ни малейшего желания, чтобы на меня оборачивались.

— Разве я виноват, если вижу вас таким? — мог бы возразить Сименон, как художник, наградивший натурщика кривым носом или косыми глазами.

Только этому натурщику не приходится всю дальнейшую жизнь проводить лицом к лицу со своим портретом и встречаться с множеством людей, твердо убежденных, что нос у него и в самом деле кривой, а глаза косые.

В то утро я Сименону всего этого не выложил. Я только отвел взгляд и робко спросил:

— Разве была необходимость упрощать и меня тоже?

— Вначале — безусловно. Надо было, чтобы читатель привык к вам, к вашему силуэту, к вашей походке. Вот оно, верное слово! Вы пока только силуэт: спина, трубка, манера двигаться, бурчать себе под нос…

— Спасибо.

— Но постепенно вы обрастете плотью, вот уви-

дите. Не знаю, сколько времени на это уйдет. Но вы заживете более осмысленной, более сложной жизнью…

— И то хорошо.

— Например, пока что у вас еще нет семейного очага, а ведь на самом деле бульвар Ришар-Ленуар и мадам Мегрэ составляют добрую половину вашей жизни. Пока что вы только звоните домой, но скоро читатель вас там увидит.

— В халате и шлепанцах?

— И даже в постели.

— Я сплю в ночной рубашке, — иронически заметил я.

— Знаю. Это довершает ваш облик. Даже если бы вы спали в пижаме, я одел бы вас в ночную рубашку.

Неизвестно, чем окончился бы этот разговор, — по всей вероятности, крупной ссорой, если бы мне не сообщили, что пришел наш осведомитель с улицы Пигаль.

— Одним словом, — сказал я Сименону, когда он, прощаясь, протянул мне руку, — вы собой довольны.

— Еще нет, но это не за горами.

Ну мог ли я ему сказать, что запрещаю впредь пользоваться моим именем? По закону мог. И это

послужило бы поводом к одному из так называемых «чисто парижских» процессов, где я стал бы всеобщим посмешищем.

А персонаж обзавелся бы другим именем. И все же остался бы мной, вернее, мной в упрощенном варианте, который, если верить автору, будет постепенно усложняться.

Хуже всего, что этот нахал не ошибся и мне предстояло из месяца в месяц, из года в год находить на фотоснимке, украшающем обложку его книг, нового Мегрэ, с каждым разом все больше и больше похожего на меня.

И если бы только книги! Не осталось в стороне кино, радио, а потом и телевидение!

Странное это чувство — увидеть на экране, как ходит, разговаривает, сморкается некий субъект, выдающий себя за вас, перенявший какие-то ваши черточки, слышать, как он произносит те самые слова, что вы действительно сказали когда-то в памятных вам обстоятельствах, в обстановке, порой восстановленной до мельчайших подробностей.

Первый кино-Мегрэ, Пьер Ренуар, был еще в какой-то мере похож на меня. Только чуть выше ростом, чуть стройнее. Черты лица, разумеется, были другими, но манерой держаться этот актер

иногда удивительно напоминал меня — видно, немало времени тайком наблюдал за мной.

Через несколько месяцев я стал на двадцать сантиметров ниже, но зато раздался вширь и в исполнении Абеля Таррида выглядел тучным и благодушным, круглым, как надувная игрушка, которая вот-вот взлетит под потолок. Я уж не говорю о самодовольном подмигивании, сопровождавшем все мои удачные находки и уловки.

Я не досмотрел этот фильм до конца, но злоключения мои на этом не кончились.

Гарри Бор, наверное, талантливый актер, но ему в ту пору было на двадцать лет больше, чем мне, и лицо его было одновременно безвольным и трагическим.

Не важно!

Постарев на двадцать лет, я примерно на столько же помолодел значительно позже, в исполнении некоего Прэжана, которого мне не в чем упрекнуть, — как, впрочем, и остальных, — разве только в том, что он скорее смахивал на нынешних молодых инспекторов, чем на людей моего поколения.

Наконец, совсем недавно я снова растолстел, да так, что казалось, сейчас лопну, и к тому же свободно заговорил по-английски в изображении

Чарльза Лоутона.

Так вот! Из всех этих актеров только у одного хватило ума надуть Сименона и признать, что моя истина стоит больше, чем истина нашего автора.

Это был Пьер Ренуар, появившийся на экране не в котелке, а в обычной фетровой шляпе и в костюме, какой носят все чиновники, в том числе и полицейские.

Сейчас я спохватился, что говорю только о мелочах — о шляпе, о пальто, о печурке, — вероятно, потому, что они особенно неприятно меня поразили.

Ничего нет удивительного в том, что сначала становишься взрослым, а потом и старым. Но стоит тебе по-новому подстричь кончики усов — и ты не узнаешь себя в зеркале!

Откровенно говоря, мне хочется сперва покончить с тем, что я сам считаю мелочами, а потом сравнить сущность обоих персонажей.

Если прав Сименон, что вполне возможно, то моя истина покажется бесцветной и смешной рядом с вышеупомянутой, упрощенной истиной, а я старым брюзгой, подправляющим собственный портрет.

Но, начав с одежды, я уже вынужден идти даль-

ше, хотя бы ради своего же спокойствия.

Недавно Сименон спросил меня, — кстати, он тоже далеко не тот юнец, с которым я познакомился у Ксавье Гишара, — итак, говорю, Сименон спросил меня, насмешливо ухмыляясь:

— Ну, как там новый Мегрэ?

Я попытался ответить его же словами, произнесенными когда-то:

— Вырисовывается понемножку! Пока что это только силуэт. Шляпа. Пальто. Но это его шляпа! Его пальто! Постепенно, быть может, появится остальное — руки, ноги, даже лицо, — как знать? Вероятно, он даже научится думать сам, без помощи писателя.

А ведь Сименону сейчас примерно столько лет, сколько было мне, когда мы с ним встретились впервые. В ту пору он, по-видимому, считал меня человеком зрелым и даже, вполне возможно, стариком.

Я не стал спрашивать, что он думает обо мне сегодня, но не удержался от замечания:

— А знаете, с годами вы стали ходить, курить трубку, даже разговаривать как ваш Мегрэ!

И это действительно так! Согласитесь — как не порадоваться такой мести?

Выходит, на склоне лет он постепенно стано-

вится мною!

Глава 3,
в которой я пытаюсь рассказать о бородатом докторе, сыгравшем известную роль в жизни моего семейства и в конечном счете повлиявшем на мой выбор профессии

Не знаю, найду ли я наконец верный тон — уже с самого утра моя мусорная корзина полна разорванными листками. А вчера вечером я вообще собирался бросить эти записки.

Пока жена читала то, что я написал за день, я наблюдал за ней, делая вид, будто просматриваю газету, и вдруг мне показалось, будто что-то ее поразило, и чем дальше она читала, тем чаще удивленно, едва ли не с огорчением поглядывала на меня.

Она не сразу заговорила со мной, молча положила рукопись в ящик стола, и прошло немало времени, прежде чем она наконец как бы вскользь обронила:

— Можно подумать, ты к нему плохо относишься.

Я понял, кого она имеет в виду, и именно поэтому в недоумении вытаращил глаза:

— Вот еще новость! С каких это пор мы с Сименоном не друзья?

— Так-то оно так…

Я старался угадать, чего она недоговаривает, и припомнить, что же я написал.

— Может быть, я и не права, — сказала она. — Даже наверняка, раз ты так говоришь. Но пока я читала, мне иногда казалось, что ты припоминаешь старую обиду. Не такую тяжкую, о которой говорят вслух. Но которую таят, которой…

Она не закончила — я сделал это за нее:

— Которой стыдятся…

Видит Бог — когда я писал, ничего подобного мне и в голову не приходило. Мы с Сименоном не только поддерживали самые сердечные отношения, он очень скоро стал другом нашего дома, и в тех редких случаях, когда мы с женой выезжали летом из Парижа, мы почти всегда навещали его, — если только он оставался во Франции, — в Эльзасе, в Поркероле, в Шаранте, в Вандее, и это не все. Возможно, не так давно я согласился на полуофициальную поездку по США только потому, что намеревался заехать в Аризону, где он в ту пору жил.

— Клянусь тебе… — начал я очень серьезно.

— Я-то тебе верю. А вот читатели, может быть, не поверят.

Разумеется, я сам виноват. Я не привык иронизировать и, видимо, делаю это весьма тяжеловесно. Между тем из какой-то стыдливости мне хотелось по возможности шутливо затронуть довольно трудную тему, к тому же больную для моего самолюбия.

Короче говоря, я пытаюсь подогнать один образ к другому, сопоставить персонаж не с тенью, а с оригиналом. Сименон первым же и поддержал меня в этом намерении.

Добавлю, чтобы успокоить мою жену, которая всегда чуть ли не с яростью встает на защиту друзей, что нынешний Сименон, — как я уже писал вчера, опять же подшучивая, — совсем не тот молодой человек, чья вызывающая самоуверенность подчас доводила меня до белого каления; напротив, он стал, пожалуй, молчалив, высказывается нерешительно, в особенности если тема берет его за живое, боится что-либо утверждать с уверенностью и добивается, готов поклясться, моего одобрения.

Неужели я стану придираться к нему после всего сказанного? Если только самую малость. И

наверное, в последний раз. Чересчур уж соблазнительный случай, трудно устоять.

Примерно в сорока томах, посвященных моим расследованиям, Сименон около двадцати раз упоминает о моем происхождении и семье, говорит несколько слов о моем отце, управляющем в поместье, о коллеже в Нанте, где я одно время учился, и еще вскользь о тех двух годах, когда я изучал медицину.

А ведь этому же автору понадобилось около восьмисот страниц, чтобы рассказать о собственном детстве.

Не важно, что сделал он это в форме романа, как и то, соответствуют ли персонажи своим прототипам, — важно, что он только тогда счел портрет своего героя законченным, когда показал его в окружении отца и матери, деда и бабки, тетушек и дядюшек, заодно поведав читателю о всех их болезнях и страстишках, и даже соседской собачонке уделил не менее полустраницы.

Я, конечно, не жалуюсь, и замечание мое — просто скрытая попытка заранее ответить на возможные упреки в том, что я слишком подробно описываю свое семейство.

На мой взгляд, нельзя судить о человеке, не зная его прошлого. Расследуя иные дела, я гораздо

подробнее интересовался семьей и окружением подследственного, чем им самим, и нередко таким образом подбирал ключ к тайне, которая могла остаться нераскрытой.

Сименон пишет, что родился я в Центральной Франции, неподалеку от Мулена; это, конечно, так, но не помню, чтобы где-нибудь говорилось, что поместье, которым управлял отец, состояло из трех тысяч гектаров земли и не менее двадцати шести ферм.

Не только мой дед, которого я хорошо помню, был арендатором одной из этих ферм, и до него по меньшей мере три поколения Мегрэ возделывали эту землю.

Когда отец был еще мальчишкой, из семи или восьми детей в его семье после эпидемии тифа уцелели только двое: он сам и одна из его сестер, впоследствии она вышла замуж за булочника и поселилась в Нанте.

Почему отец стал учиться в муленском лицее, отойдя таким образом от многолетней семейной традиции?

Я полагаю, что на него повлиял сельский священник.

Но от земли он не оторвался, потому что, проучившись два года в сельскохозяйственной

школе, вернулся в деревню и получил в поместье должность помощника управляющего.

Мне всегда немного неловко говорить об отце. Кажется, будто люди подумают: «Он запомнил родителей такими, какими они представлялись ему в детстве».

И я часто спрашивал себя, не ошибаюсь ли я, не утратил ли способность к критической оценке.

Но я встречал и других людей, подобных отцу, принадлежащих к тому же поколению и чаще всего к тому же слою общества, который я назвал бы промежуточным.

Для деда права владельцев поместья, их привилегии и поведение были неоспоримы. Что он думал о них на самом деле, осталось мне неизвестным. Я был еще ребенком, когда он умер. Тем не менее, вспоминая, как он умел порой взглянуть, а в особенности промолчать, я пришел к выводу, что его отношение к хозяевам определяла не пассивность, а тем более покорность, но, скорее, своего рода гордость и прежде всего очень развитое чувство долга. Это чувство наследовали люди, подобные моему отцу, точно так же, как замкнутость и неизменное достоинство, которое многие принимали за покорность.

Я хорошо помню отца. И храню его фотографии.

Он был очень высоким, очень худым, и худобу эту еще больше подчеркивали узкие брюки и краги, без которых я отца никогда не видел. Он носил их как форму. Бороду он брил, зато оставлял длинные рыжеватые усы, и, когда он возвращался домой в зимние дни, я чувствовал, целуя его, холодок маленьких льдинок.

Дом наш стоял во дворе усадьбы, красивый двухэтажный дом из розового кирпича, возвышавшийся над низкими строениями, где жили семья лакеев, конюхов, сторожей, чьи жены, как правило, были у помещика прачками, портнихами или помощницами на кухне.

На этом дворе отец мой был своего рода монархом, и люди почтительно разговаривали с ним, сняв шапку.

Примерно раз в неделю поздним вечером или в сумерках отец отправлялся в двуколке с одним или несколькими арендаторами на какую-нибудь далекую ярмарку покупать либо продавать скот и возвращался только назавтра, под вечер.

Контора его помещалась в отдельном здании, где на стенах висели снимки премированных быков и лошадей, ярмарочные календари и чуть ли не каждый год красовался постепенно засыхающий сноп ржаных колосьев — гордость

последнего урожая.

Утром, часов около десяти, отец выходил во двор и направлялся в недоступные для других владения. Миновав все дворовые постройки, он поднимался по главной лестнице, куда крестьянам вход был воспрещен, и какое-то время оставался за толстыми стенами помещичьего дома.

Теперь бы я сказал, что он шел на утреннюю оперативку, как мы у себя в уголовной полиции, ребенком же я очень гордился, глядя, как отец поднимается по ступеням этой удивительной лестницы, держась очень прямо, без тени раболепия.

Он был молчалив, редко смеялся, но зато смех его был удивительно молодым, даже детским, и вызвать этот смех могла самая незамысловатая шутка.

Он не пил, в отличие от большинства знакомых мне тогда людей. У его прибора всегда стоял графинчик, до половины наполненный легким белым вином, изготовленным здесь же, в поместье, и я никогда не видел, чтобы он пил что-либо другое даже на свадьбах или похоронах. А когда на ярмарке ему случалось зайти в трактир, хозяин угощал его чашечкой кофе, до которого он был

большой охотник.

Мне он тогда казался человеком в летах, даже пожилым. Мне было пять лет, когда умер дедушка. Что касается родителей матери, они жили километрах в пятидесяти от нас и мы навещали их не чаще двух раз в год, так что я их мало знал. Они не были фермерами, а держали в довольно большом поселке бакалейную лавку и при ней закусочную, как это водится в сельской местности.

Сейчас я не берусь утверждать, в этом ли была причина наших довольно прохладных отношений с семейством матери…

Мне еще не было восьми лет, когда я заметил, что моя мать беременна. Из случайно подслушанных фраз и перешептываний я догадался, что событие это неожиданное, так как после моего рождения врачи сказали, что она вряд ли еще сможет рожать.

Обо всем этом у меня сохранились отрывочные воспоминания, как вообще о детстве, и лишь позже я по кусочкам восстановил последовательность событий.

В ту пору в соседней деревне, побольше, чем наша, жил врач с остроконечной рыжей бородкой, по имени Гадель — Виктор Гадель, если не ошибаюсь, — о котором много говорили, и почти

всегда с таинственным видом, поэтому, должно быть, а еще из-за его бороды он мне казался едва ли не дьяволом.

Ему довелось пережить трагедию, настоящую трагедию. Для меня она стала первой, с которой я столкнулся на своем веку, и оставила неизгладимое впечатление, тем более что трагедии этой суждено было сыграть немалую роль в судьбе нашей семьи, а стало быть, и в моей судьбе тоже.

Гадель пил. Пил куда больше, чем деревенские жители, и не время от времени, а каждый день, с утра и до вечера. Поэтому в теплой комнате от него всегда шел спиртной дух, вызывавший у меня отвращение.

К тому же он почти не следил за собой. Можно даже сказать, всегда ходил грязным.

Как же получилось, что, несмотря на это, он считался другом моего отца? Это было для меня загадкой.

Тем не менее Гадель часто приходил к отцу, беседовал с ним, больше того — едва войдя в дом, он направлялся к буфету, где специально для него всегда стоял графинчик с водкой.

О той, первой трагедии я в ту пору почти ничего не знал. Жена доктора Гаделя забеременела, должно быть, в шестой или седьмой раз. Мне она

казалась старухой, хотя ей было, наверное, не более сорока лет.

Что же произошло в день родов? Гадель, видимо, пришел домой пьяный больше обычного и продолжал пить у постели жены, ожидая, когда начнутся роды.

Но ждать пришлось дольше, чем положено. Детей увели к соседям. К утру роды все еще не начались, и свояченица, ночевавшая у врача, ненадолго отлучилась к себе по хозяйству.

Говорят, некоторое время спустя в доме врача раздались крики, поднялась суматоха, беготня.

Прибежавшие на шум соседи увидели, что Гадель плачет в углу. Жена была мертвой, ребенок тоже.

Еще долго потом я слышал, как возмущенные кумушки шептали друг другу с негодованием:

— Ну просто раскромсал, как мясник!

Многие месяцы история эта служила пищей для разговоров, и, как следовало ожидать, местные жители разделились на два лагеря. Одни — их было немало — стали обращаться за врачебной помощью в город, хотя в те времена такая поездка была нелегким путешествием, а другие, то ли из равнодушия, то ли все еще доверяя бородачу, продолжали лечиться у него.

Отец никогда не говорил со мной об этом. И мне остается только прибегнуть к догадкам.

Гадель по-прежнему бывал у нас. Обходя больных, он заглядывал к нам и все тем же привычным жестом ставил перед собой все тот же графинчик с золотым ободком вокруг горлышка.

Пил он, однако, не так, как раньше. Говорили, что его теперь никто не видит пьяным. Как-то ночью его позвали к роженице на самую далекую ферму, и он отлично справился со своим делом. На обратном пути доктор зашел к нам, и я хорошо помню, что он был очень бледен; я будто сейчас вижу, как отец долго и крепко пожимает ему руку, чего он обычно не делал, словно хочет подбодрить его, сказать: вот видите, а вы думали, что все пропало.

Он-то, мой отец, ни одного человека не считал пропащим.

Я никогда не слышал, чтобы он кого-либо осуждал, даже некоего арендатора, мошенника и горлопана, паршивую овцу нашей деревни, о грязных делишках которого отец сообщил помещику и который стал после этого обвинять отца в каких-то темных махинациях.

Без сомнения, врач стал бы человеком конченым, если бы после гибели жены и ребенка ему

никто не протянул руки. Но отец это сделал. И когда моя мать забеременела, какое-то чувство, труднообъяснимое, но для меня понятное, заставило его и тут остаться верным себе.

Однако он принял кое-какие меры. Когда мать была уже на сносях, он дважды возил ее в Мулен к специалисту.

Пришло время родов. Ночью к врачу поскакал верхом один из конюхов. Меня не отослали из дому, и я сидел, запертый в своей комнате, и сильно волновался — для меня, как и для всех деревенских ребят, происходящее уже давно не было тайной.

Моя мать умерла в семь часов утра, и, когда я спустился в столовую, мне тотчас же, несмотря на все мое горе, бросился в глаза графинчик на обеденном столе.

Так я остался единственным ребенком. В доме у нас поселилась соседская девушка, чтобы вести хозяйство и присматривать за мной. С тех пор я больше не видел у нас доктора Гаделя и никогда не слышал, чтобы отец хоть словом обмолвился о нем.

Смутно помнятся мне однообразные дни, потянувшиеся вслед за этой драмой. Я ходил в сельскую школу. Отец становился все молчали-

вее. Ему было тридцать два года, и только теперь я понимаю, как он был еще молод.

Когда мне минуло двенадцать лет, я без возражений согласился поступить в интернат Муленского лицея, так как возить меня туда каждый день было невозможно.

В лицее я проучился всего несколько месяцев. Мне было там очень плохо, я чувствовал себя чужим в этом незнакомом и, казалось, враждебном мире. Но я ничего не говорил отцу, когда тот брал меня домой в субботние вечера. Я ни разу не пожаловался.

По-видимому, он и без того все понял, потому что на пасхальных каникулах к нам внезапно приехала его сестра, муж которой держал в Нанте пекарню, и я понял, что приводится в действие замысел, уже намеченный ранее в переписке.

Моя тетка, очень румяная женщина, к тому времени порядком раздалась вширь. Детей у нее не было, и это очень ее огорчало.

Несколько дней подряд она застенчиво топталась вокруг меня, как бы желая приручить.

Она рассказывала мне о Нанте, о своем домике возле порта, о вкусном запахе горячего хлеба, о муже, который работал всю ночь в пекарне и отсыпался днем.

Она старательно притворялась веселой. А я уже обо всем догадался. И покорился. Впрочем, нет, я не люблю этого слова — просто я был на все согласен.

Однажды в воскресенье после мессы мы с отцом ушли далеко в поле и долго там говорили. Впервые он обращался ко мне как к взрослому. Он говорил о моем будущем, о том, что мне незачем учиться в сельской школе, а в муленском интернате я буду лишен нормальной семейной обстановки.

Сейчас я понимаю, что он думал. Ему было ясно, что не годится мне, парнишке, у которого вся жизнь впереди, оставаться вдвоем с ним, человеком замкнутым, постоянно погруженным в свои мысли.

И я уехал на вокзал с теткой, а в повозке сзади нас подпрыгивал мой тяжелый сундук.

Отец не плакал. Я тоже.

Вот, пожалуй, все, что я могу сказать об отце. Потом в течение нескольких лет меня знали в Нанте как племянника пекаря, и я, должно быть, привык к этому человеку с волосатой грудью, видя его день за днем в красноватых отблесках печи.

Каникулы я проводил с отцом. Не решаюсь

сказать, что мы с ним стали чужими. Но у меня к тому времени сложилась своя жизнь со своими стремлениями, своими трудностями. Отца я любил и уважал, но уже не пытался понять. Так продолжалось многие годы. А может, всегда так получается? Во всяком случае, тогда я склонялся к этому заключению.

Когда же у меня снова возник интерес к нему, было уже слишком поздно, чтобы задавать вопросы, которые я так хотел задать, и я упрекал себя за то, что не сделал этого, когда он был жив и мог на них ответить.

Отец умер от плеврита в возрасте сорока четырех лет.

Я был тогда очень молод и только начал учиться в медицинском. В свои последние приезды я обратил внимание на румянец, горевший на щеках отца, и лихорадочный блеск его глаз по вечерам.

— Болел кто-нибудь чахоткой у нас в семье? — спросил я однажды тетку.

Она вскинулась, будто я заговорил о чем-то постыдном.

— Да никогда в жизни! Все у нас были крепкие, как дубы! Разве ты не помнишь деда?

Как раз о нем-то я и вспомнил. И о его сухом

покашливании, которое он объяснял курением. А еще очень смутно я припоминал, что в детстве видел на отцовских щеках тот же тлеющий огонь румянца.

И у тетки был тот же румянец.

— Еще бы, вечно торчишь в пекарне! — объясняла она.

Тем не менее тетка умерла через десять лет после отца от той же болезни, что и он.

Я же, вернувшись в Нант за вещами, перед тем как начать новую жизнь, после долгих колебаний отправился на дом к одному из моих преподавателей и попросил выслушать мои легкие.

— Подобного рода опасность вам не грозит! — успокоил он меня.

Два дня спустя я уехал в Париж.

На этот раз моя жена не рассердится, если я вернусь к Сименону и образу Мегрэ, созданному им, так как я намерен поговорить о вопросе, затронутом в одной из недавно вышедших его книг и имеющем ко мне непосредственное отношение.

Вопрос этот, кстати, один из самых для меня болезненных. На этот раз я имею в виду вовсе не одежду или другие мелочи, на которых я до сих пор останавливался в общем-то шутки ради.

Я не был бы сыном своего отца, если бы не

принимал близко к сердцу все, что касается моей работы, моей профессии, об этом-то как раз и пойдет речь.

У меня порой складывалось неприятное впечатление, что Сименон в какой-то мере пытается оправдать меня в глазах читателей за то, что я стал полицейским. И я уверен, многие из них считают, будто я выбрал эту профессию за неимением лучшего.

Ведь всем известно, что я начал учиться на врача по собственной воле, без всякого нажима со стороны честолюбивых родных, как это часто бывает.

Но уже давно я о медицине и думать забыл и, наверное, так и не вспомнил бы, если бы из-за нескольких фраз Сименона относительно моей профессии передо мной не возникла постепенно некая проблема.

Я никому не говорил об этом, даже жене. Сегодня я должен преодолеть известную стыдливость, чтобы все расставить по местам или хотя бы попытаться это сделать.

Итак, в одной из своих книг Сименон упомянул о «наладчике судеб», но придумал это вовсе не он, а я, — должно быть, и сказал как-то при нем невзначай во время наших бесед.

И вот теперь я спрашиваю себя, уж не началось ли все с Гаделя, чья драма, как я впоследствии понял, потрясла меня сильнее, чем я тогда думал.

Именно потому, что он был врачом, именно потому, что он оступился на этом поприще, профессия медика обрела в моих глазах ни с чем не сравнимое значение, врач казался мне чем-то вроде священника.

Много лет, не отдавая себе в том отчета, пытался я разобраться в драме этого человека, вступившего в неравную схватку с судьбой. Я помнил поведение отца по отношению к Гаделю и спрашивал себя, понял ли отец то же, что понял я, и не потому ли пошел на риск, чтобы предоставить Гаделю еще один шанс.

От Гаделя я незаметно перешел к другим своим знакомым, чаще всего самым заурядным людям, чья жизнь на первый взгляд протекала очень гладко, однако каждому из них в свое время пришлось померяться силами с судьбой.

Прошу не забывать, что я стараюсь передать здесь не размышления взрослого человека, но ход мыслей мальчугана, а затем подростка.

Смерть матери казалась мне такой нелепой, такой бессмысленной!

И все подобные трагедии, все человеческие

несчастья, о которых я узнавал, вызывали у меня какое-то яростное отчаяние.

Неужели никто не мог прийти на помощь? Неужели надо смириться с тем, что не нашлось человека, — а представлял я его домашним врачом, Гаделем, только более удачливым, — умнее или опытнее других, способного сказать ласково и твердо: «Вы идете по неверному пути. Такие поступки неизбежно приведут вас к катастрофе. Ваше настоящее место тут, а не там».

Да, вероятно, в этом все дело. Я смутно догадывался, что многие оказались не на своем месте, пытаются играть роль, которая им не по плечу, и поэтому заранее обречены на провал.

Только, пожалуйста, не воображайте, будто я хотел стать когда-нибудь этаким Господом Вседержителем.

После попыток понять Гаделя, а потом отношение к нему отца я продолжал осматриваться вокруг, задаваясь все теми же вопросами.

Вот пример, который, может быть, вызовет улыбку.

Одно время в нашем классе насчитывалось пятьдесят восемь учеников, пятьдесят восемь выходцев из разных сословий, с разными характерами, стремлениями, недостатками. И мне

нравилось придумывать, какая судьба ждет каждого из моих соучеников, я мысленно уже называл их: адвокат, сборщик налогов…

Я также пробовал угадать, какой смертью умрут окружавшие меня люди.

Теперь, должно быть, вы лучше поняли, почему мне пришло в голову стать врачом. При слове «полиция» в то время я вспоминал лишь постового на углу улицы. А если и слышал что-то о тайной полиции, то не имел о ней ни малейшего представления.

И вот мне пришлось зарабатывать на хлеб. Я приехал в Париж, совершенно не зная, какую профессию выбрать. С моим незаконченным образованием я мог рассчитывать только на службу в конторе, а поэтому без особого воодушевления принялся изучать объявления в газетах. От предложения дяди остаться с ним и стать пекарем я давно отказался.

В маленькой гостинице на левом берегу Сены, где я остановился, жил по соседству со мной мужчина лет сорока, очень меня заинтересовавший и Бог знает почему казавшийся мне похожим на отца.

Впрочем, внешне он был полной противоположностью худому, белокурому и сутулому

человеку в кожаных крагах.

Небольшого роста, черноволосый, он тщательно скрывал раннюю плешь, начесывая пряди на лоб, а концы черных усов закручивал вверх. Одет он был очень аккуратно, всегда в черном, ходил в пальто с бархатным воротником — вспомните о другом, небезызвестном пальто! — и держал в руке трость с набалдашником литого серебра.

Думаю, что сходство с отцом заключалось в манере держаться, ступать всегда неторопливо, слушать, смотреть, а потом вдруг замыкаться в себе.

Однажды я случайно увидел его в дешевом ресторанчике неподалеку от гостиницы; я узнал, что он обедает там каждый вечер, и мне без всякой видимой причины захотелось с ним познакомиться.

Тщетно пытался я угадать его профессию. По всей вероятности, он был холостяком, раз жил один в гостинице. Я слышал утром, как он встает и как возвращается вечером в разное время. Никто к нему не приходил, и только однажды я заметил его на углу бульвара Сен-Мишель разговаривающим с весьма подозрительным субъектом, таких тогда называли «апашами».

К тому времени я уже почти получил место в

фирме галантерейных товаров на улице Виктуар. И должен был явиться туда с рекомендациями, которые письменно запросил у своих бывших преподавателей.

В тот вечер в ресторане, подчиняясь какому-то неясному побуждению, я встал со своего места как раз в ту минуту, когда мой сосед по площадке отложил после обеда салфетку, а минутой позже я открыл дверь, пропуская его вперед. Он, должно быть, тоже заметил меня и, возможно, догадался, что я хочу поговорить с ним, так как пристально на меня поглядел и сказал:

— Благодарю вас. — Потом спросил, видя, что я остановился посреди улицы: — Идете в гостиницу?

— Может быть… Не знаю…

Стоял прекрасный осенний вечер. Набережная была неподалеку, луна вставала из-за деревьев.

— У вас никого нет в Париже?

— Никого.

Не спрашивая моего согласия, он пошел со мной, будто мы были давно знакомы.

— Ищете работу?

— Как вы угадали?

Он не ответил и сунул в рот какую-то таблетку. Вскоре я узнал, зачем он это делал: у него плохо

пахло изо рта.

— Из провинции приехали?

— Из Нанта, но родился я в деревне.

Он сразу же завоевал мое доверие. Едва ли не впервые после моего приезда в Париж у меня был собеседник, и молчаливость его меня не смущала, вероятно, потому, что я привык к доброжелательной молчаливости отца.

К тому времени, когда мы по мосту Сен-Мишель вышли на набережную Орфевр, я успел рассказать ему о себе почти все.

Остановившись перед приоткрытой дверью, он сказал:

— Подождете меня? Я ненадолго.

У двери стоял полицейский в форме. Походив немного по улице, я спросил его:

— Это, кажется, Дворец правосудия?

— Это вход в Сюрте.

Моего соседа по площадке звали Жакменом. Как я и думал, он был холостяком — я узнал об этом в тот самый вечер, когда мы бродили вдоль Сены, по нескольку раз проходя по одним и тем же местам, но все же оставаясь неподалеку от возвышавшейся над нами громады Дворца правосудия.

Он был полицейским инспектором и о своей

работе рассказывал коротко, как рассказывал бы о своей отец, и с той же скрытой гордостью.

Три года спустя его убили, это было еще до того, как я оказался в здании на набережной Орфевр, которое приобрело в моих глазах особое значение.

Это случилось в стычке возле Итальянских ворот. Пуля, предназначенная другому, попала Жакмену в грудь.

Его фотография в черной рамке и сейчас висит среди других, под которыми написано: «*Погиб при исполнении служебного долга*».

Говорил он мало, больше слушал. Но это не помешало мне часов в одиннадцать вечера спросить его дрожащим от нетерпения голосом:

— Вы действительно думаете, что это возможно?

— Я дам вам ответ завтра вечером.

Конечно, не было и речи о том, чтобы сразу поступить в Сюрте. Тогда еще не настало время дипломов и каждый начинал свою карьеру рядовым.

Я мечтал об одном: быть зачисленным на любую работу в любой полицейский комиссариат Парижа, чтобы самому открыть мир, в который инспектор Жакмен дал мне лишь заглянуть.

Когда мы расставались на площадке нашей гостиницы, — впоследствии дом этот снесли, — он неожиданно спросил меня:

— Вам, наверное, не захочется носить форму?

Сознаюсь, его вопрос и впрямь застал меня врасплох, я не сразу решился ответить, а он, разумеется, заметил мои колебания и вряд ли обрадовался.

— Нет, почему же… — произнес я очень тихо.

Я действительно носил форму, но недолго, месяцев семь-восемь. Я был длинноногим, очень худым и подвижным, чему сейчас трудно поверить, поэтому мне выдали велосипед и поручили развозить бумаги по разным учреждениям, чтобы я поскорее узнал Париж.

Писал ли об этом Сименон? Не помню. Несколько месяцев пробирался я на велосипеде между фиакрами и двухэтажными омнибусами, запряженными в ту пору лошадьми и наводившими на меня ужас, в особенности когда они мчались вниз по Монмартру.

Полицейские чиновники носили тогда сюртуки и цилиндры, а в определенном звании — и визитки.

Рядовые же полицейские большей частью были людьми немолодыми, нередко выпивали у

стойки с извозчиками, и их красные носы служили мишенью для безжалостных насмешек куплетистов.

Я не был женат. Ухаживать за девушками я стеснялся из-за формы и твердо решил, что моя настоящая жизнь начнется с того дня, когда я поднимусь по главной лестнице здания на набережной Орфевр полицейским инспектором, а не рассыльным, нагруженным ворохом бумаг.

Когда я признался моему соседу по площадке в столь честолюбивых замыслах, он не улыбнулся, а задумчиво посмотрел на меня и сказал: «Почему бы и нет?»

Я не знал, что вскоре мне предстояло его хоронить.

Видно, мое умение предсказывать человеческие судьбы оставляло желать лучшего.

Глава 4,
в которой я поедаю птифуры Ансельма и Жеральдины на глазах и под носом у дорожного ведомства

Задумывались ли когда-нибудь мой отец и дед над тем, что им могла выпасть иная участь? Стремились ли к чему-то другому? Завидовали тем, кого постигла иная судьба?

Странно: я столько лет прожил с этими людьми и не знаю о них того, что кажется сегодня главным. Когда я думаю об этом, у меня такое чувство, будто я стою на границе двух миров, совершенно чуждых друг другу.

Не так давно мы с Сименоном говорили на эту тему в моей квартире на бульваре Ришар-Ленуар. Кажется, это было накануне его отъезда в Соединенные Штаты.

Он вдруг уставился на увеличенную фотографию моего отца и долго не спускал с нее глаз, хотя уже много лет видел ее на стене в столовой.

Рассматривая фотографию с необычайным вниманием, он то и дело пристально поглядывал на

меня, будто искал сходство между мной и отцом, и о чем-то размышлял.

— Собственно говоря, Мегрэ, — произнес он наконец, — поскольку вы родились в определенной среде и на определенном этапе семейной эволюции, из вас неизбежно должен был получиться, как говорили в старину, сановник, или, если вам больше нравится, государственный служащий с высоким положением.

Эти слова меня поразили оттого, что и мне подобная мысль нередко приходила в голову, хотя не так точно выраженная, а главное, я не относил ее к себе.

Я давно заметил, что многие мои сотрудники — выходцы из крестьянских семей, совсем недавно утратившие связь с землей.

Сименон продолжал с таким видом, будто о чем-то жалел и едва ли не завидовал мне:

— Я опередил вас на одно поколение. Эквивалент вашего отца у нас в семье — мой дед. А отец уже был государственным служащим.

Моя жена внимательно смотрела на Сименона, стараясь вникнуть в смысл его слов, а он продолжал, уже более шутливо:

— Естественно, что в категорию лиц свободной профессии я мог бы проникнуть лишь с черного

хода, положив немало труда, чтобы стать практикующим врачом, адвокатом либо инженером. Или же…

— Или?

— Или я превратился бы в озлобленного неудачника. Таких большинство. Иначе набралось бы несметное множество врачей и адвокатов. Я, пожалуй, вышел из слоя, который поставляет наибольшее число неудачников.

Не знаю, почему мне сейчас припомнился этот разговор. Вероятно, потому, что я воскрешаю в памяти первые годы моей работы в полиции и хочу разобраться в своих тогдашних настроениях.

Я был один на свете. Только что приехал в Париж, которого еще не знал, но богатство этого города бросалось тогда в глаза куда больше, чем в наше время.

Особенно поражал контраст между этим богатством и бедностью, а я принадлежал к беднякам.

На глазах у толпы жил своей жизнью особый мир утонченных бездельников, и газеты не уставали сообщать обо всем, чем занимались эти люди, не знавшие иных забот, кроме развлечений и тщеславного соперничества.

Тем не менее я ни на одно мгновение не взбунтовался против такого порядка вещей. Я не

завидовал этим людям. Не тешил себя надеждой уподобиться им. Не сравнивал свою судьбу с их судьбой.

Они жили, на мой взгляд, в другом мире, совершенно отличном от моего, все равно что на другой планете.

В ту пору я обладал завидным аппетитом, и у нас в семье по этому поводу ходили легенды, даже когда я был ребенком. В Нанте тетка моя любила рассказывать, как однажды, придя из лицея, я съел у нее на глазах четырехфунтовый хлеб, что не помешало мне пообедать два часа спустя.

Зарабатывал я очень мало, и главной моей заботой было насытиться, поэтому верхом роскоши мне казались не террасы знаменитых кафе на Бульварах, не витрины на улице Пэ, а куда более прозаичные окна колбасных лавок с выставленными в них лакомствами.

На пути, который я обычно совершал на велосипеде, одетый в форму, я приметил несколько колбасных и всегда старался так рассчитать время, чтобы успеть купить и с жадностью съесть тут же на улице кусок колбасы или порцию паштета с булочкой, купленной рядом.

Заморив червячка, я чувствовал себя счастливым и уверенным в себе. Я добросовестно

выполнял свою работу и считал исключительно важным любое возложенное на меня поручение. Мне и в голову не приходило, что я работаю сверхурочно. Я был убежден, что все мое время принадлежит полиции, и мне казалось вполне естественным работать по четырнадцать-пятнадцать часов в сутки.

Впрочем, не подумайте, будто я ставлю это себе в заслугу, — напротив, я хорошо помню, что такое отношение к работе было характерно для того времени.

Рядовые полицейские, как правило, имели тогда лишь начальное образование. От инспектора Жакмена начальству уже было известно о моем незаконченном высшем образовании.

Через несколько месяцев, к моему большому удивлению, меня перевели на должность, на которую я не смел и надеяться: я стал секретарем комиссара полиции квартала Сен-Жорж.

Следует сказать, что в то время людей, занимавших эту должность, называли весьма непочтительно «Комиссаровыми собаками».

Меня лишили велосипеда, кепи и формы, а вместе с ними и возможности заглядывать в колбасные, разъезжая с бумагами по улицам Парижа.

Зато я особо оценил штатский костюм в тот день, когда, проходя по бульвару Сен-Мишель, услышал, что меня кто-то окликает.

За мной вдогонку бежал высокий парень в белом халате.

— Жюбер! — воскликнул я.

— Мегрэ! Что ты тут делаешь?

— А ты?

— Я не могу стоять на улице. Зайди за мной в аптеку к семи часам.

Жюбер, Феликс Жюбер, учился со мной на медицинском факультете в Нанте. Я знал, что он бросил учение одновременно со мной, но, кажется, по другим причинам. Не могу сказать, что он был тупицей, но соображал довольно туго, и о нем, помнится, говорили так:

«Дозубрится до того, что прыщи на лице выскочат, а к утру все равно ничего не знает».

Он был рыжеволосый, долговязый, костлявый, с крупным носом и грубыми чертами лица, а физиономия его и в самом деле была усыпана прыщами, но не мелкими, от которых страдают многие юноши, а огромными, красными или синеватыми, и он тщетно старался их вывести с помощью всяких мазей и порошков.

В тот же вечер я зашел за ним в аптеку, где он

работал уже несколько недель. Родных у него в Париже не было. Жил он неподалеку от Шерш-Миди, в комнате с пансионом.

— А что ты делаешь?

— Служу в полиции.

Я как сейчас вижу его светло-голубые глаза, ясные, как у девушки, в которых промелькнуло плохо скрытое недоверие. Наконец каким-то странным голосом он переспросил меня:

— В полиции?

И посмотрел на меня, а потом на постового, дежурившего на углу бульвара, как бы сравнивая нас.

— Я секретарь комиссара.

— Ах вот оно что! Понятно.

Из ложного ли стыда или потому скорее, что я не сумел бы объяснить, а он понять, но я не признался ему, что еще три недели назад ходил в форме, а теперь мечтал об одном — поступить в Сюрте. Работа секретаря в его глазах, как в глазах многих людей, была превосходной, почетной работой — в чистой комнате, в окружении книг, с пером в руках.

— У тебя много друзей в Париже?

Кроме инспектора Жакмена, я, собственно говоря, не знал никого, так как в комиссариате

был новичком и ко мне еще только присматривались.

— И подружки тоже нет? Что же ты делаешь в свободное время?

Во-первых, свободного времени у меня не было. Во-вторых, я много занимался, потому что твердо решил возможно скорее достичь намеченной цели, а для этого надо было сдать только что введенные экзамены.

В тот вечер мы пообедали вместе. За десертом он сказал мне многообещающе:

— Надо будет тебя представить.

— Кому?

— Моим друзьям. Очень приличным людям. Сам увидишь.

Больше он ничего не добавил. Уж и не знаю почему, потом мы не виделись несколько недель. Я мог бы вообще никогда больше с ним не встретиться: адреса своего я ему не оставил, его адреса не спросил. Зайти за ним как-нибудь вечерком в аптеку мне и в голову не приходило.

Нас опять свел случай, на этот раз у театра «Комеди Франсэз», где мы оба стояли в очереди.

— Как глупо получилось! — сказал он. — Я уже думал, что совсем потерял тебя из виду. Даже не знаю, в каком комиссариате ты работаешь. Я

рассказал о тебе моим друзьям.

Он говорил об этих друзьях с таким видом, будто это был особый, избранный круг людей, чуть ли не тайная секта.

— Фрак-то у тебя хоть есть?

— Есть.

Я не стал объяснять, что фрак у меня отцовский, купленный к свадьбе и несколько вышедший из моды, но перешитый на меня.

— В пятницу я тебя возьму к ним. Смотри, чтобы ты был свободен к восьми часам. Танцевать умеешь?

— Нет.

— Ну, не беда. Хотя все-таки неплохо бы научиться. Я знаю хорошую школу танцев, недорогую. Сам ходил туда.

На этот раз он записал не только мой адрес, но и название ресторанчика, где я обедал, когда был свободен от дежурств, и вот в пятницу вечером он сидел у меня на кровати и ждал, пока я оденусь.

— Я хочу тебе все объяснить, чтобы ты не ляпнул чего-нибудь ненароком. Там все будут из дорожного ведомства, кроме нас с тобой. Меня туда привел один мой дальний родственник, я с ним как-то встретился совершенно случайно. Месье и мадам Леонар — милейшие люди. А их

племянница — лучшая девушка на свете.

Я сразу понял, что он влюблен в эту племянницу и тащит меня чуть ли не силком, чтобы показать предмет своей страсти.

— Там и другие девушки будут, не бойся, — обещал он. — И премиленькие.

Шел дождь, и, чтобы не забрызгаться грязью, мы наняли фиакр. Впервые я ехал по Парижу в фиакре не по служебному делу. Будто сейчас вижу, как блестят наши крахмальные манишки в свете газовых фонарей, как Феликс Жюбер останавливает фиакр перед цветочной лавкой, чтобы купить нам обоим по цветку в петлицу.

— Старик Леонар, — объяснил он, — зовут его Ансельм, уже лет десять как вышел в отставку. Раньше он был одним из крупнейших чиновников дорожного ведомства, да и теперь еще его преемники нет-нет да и спрашивают у него совета. Отец его племянницы тоже служит в дорожном ведомстве. Собственно говоря, вся семья с этим ведомством связана.

По тому, как говорил Жюбер о дорожном ведомстве, чувствовалось, что для него оно в своем роде потерянный рай и больше всего на свете он жалеет о том, что потратил драгоценные годы на изучение медицины, а не пошел по дорожной

части.

— Вот увидишь!

И я увидел. Семейство жило на бульваре Бомарше, недалеко от площади Бастилии, в доме довольно старом, но удобном и богатом с виду. Окна четвертого этажа были освещены, и, когда мы вылезали из фиакра, я понял по взгляду Жюбера, что именно там меня ждут светские развлечения.

Мне было как-то не по себе. Я жалел, что поддался на уговоры Жюбера и пошел с ним. Меня смущал мой крахмальный воротничок, концы которого смялись; галстук почему-то все время сбивался на сторону, а одна фалда фрака то и дело взлетала вверх, как петушиный хвост.

На лестнице горел довольно тусклый свет, и красный ковер, покрывавший ступени, показался мне роскошным. Вдобавок в окнах на площадках были вставлены цветные стекла, что еще много лет представлялось мне верхом изысканности.

Жюбер на этот раз покрыл свое прыщавое лицо еще более толстым, чем обычно, слоем мази, и, уж не знаю почему, оно отливало сиреневым. Он благоговейно потянул за толстую шишечку, висевшую на шнуре у двери. Из квартиры доносился нестройный гул беседы, и голоса и смех

звучали преувеличенно громко, что говорило об оживленном светском сборище.

Нам открыла горничная в белом передничке, Феликс отдал ей пальто и поздоровался, сияя от гордости, что он здесь свой человек:

— Добрый вечер, Клеманс.

— Добрый вечер, месье Феликс.

Просторная гостиная была слабо освещена и завешана темными портьерами, а в соседней комнате, видной через широкую стеклянную дверь, стулья и столы были отодвинуты к стене, чтобы освободить место для танцев.

Жюбер с покровительственным видом подвел меня к старой седой даме, сидевшей у камина:

— Разрешите представить вам моего друга Мегрэ, о котором я уже имел честь говорить и который горит желанием засвидетельствовать вам свое почтение.

Должно быть, он всю дорогу твердил про себя эту фразу и теперь с облегчением вздохнул, когда я подобающим образом раскланялся, не очень смутившись, словом, не ударил лицом в грязь.

Старая дама была очаровательна — маленькая, худенькая, с тонким оживленным лицом, но я несколько опешил, когда она, улыбаясь, спросила меня:

— А почему вы не служите в дорожном ведомстве? Я уверена, что Ансельм будет этим очень огорчен.

Ее звали Жеральдина. Ансельм, ее муж, неподвижно сидел рядом, словно его так и принесли сюда вместе с креслом и выставили напоказ, как восковую фигуру. Он был очень стар. Потом я узнал, что ему далеко за восемьдесят, а Жеральдине около того.

Толстый парень, затянутый в слишком тесный фрак, наигрывал на пианино, а девушка в голубом платье переворачивала страницы. Я видел только их спины. А когда меня представили этой девушке, я не мог взглянуть ей в лицо — до того смутился, не зная, что говорить и куда себя деть.

Танцы еще не начались. На маленьком круглом столике стоял поднос с сухими птифурами, и немного погодя, когда Жюбер предоставил меня самому себе, я подошел к этому столику — не знаю почему, во всяком случае, есть мне не хотелось, а птифуры я никогда не любил — вероятно, просто чтобы чем-то себя занять.

Машинально я взял один птифур. Потом еще один.

Кто-то прошипел: «Тсс!»

И другая девица, не в голубом, а в розовом,

слегка косоглазая, запела, стоя у пианино, опираясь на него одной рукой, а другой обмахиваясь веером.

А я все ел да ел, сам этого не замечая. Не замечал я и того, что старая дама с недоумением смотрит на меня да и многие гости не сводят с меня глаз.

Какой-то молодой человек что-то сказал вполголоса соседу, и тотчас же опять раздалось: «Тсс!»

Платья девушек выделялись светлыми пятнами на фоне черных фраков. Девушек было четыре. Жюбер, как потом выяснилось, безуспешно пытался привлечь мое внимание, сгорая от стыда за меня, а я хватал пирожные одно за другим и добросовестно поедал их.

Потом он сказал мне, что ему было меня жаль — он был уверен, что мне в тот день не удалось пообедать.

Другие, по всей вероятности, думали то же. Девица в розовом кончила петь. Она раскланялась, гости хлопали; тут наконец я заметил, что все смотрят на меня, а я стою возле столика с набитым ртом и пирожным в руке.

Я уже готов был уйти, не прощаясь, обратиться в бегство, удрать без оглядки из этой квартиры, из этого совершенно чуждого мне мира.

Но вдруг в полутьме я заметил одно лицо, ли-

цо девушки в голубом, — она смотрела на меня приветливо, сочувственно, почти дружески. Казалось, она все понимает и хочет подбодрить меня.

Горничная внесла прохладительные напитки, но теперь, после того как я так некстати наелся пирожных, я не посмел протянуть руку за предложенным мне бокалом.

— Луиза, будь любезна, передай птифуры.

Так я узнал, что девушку в голубом зовут Луизой и что она племянница месье и мадам Леонар.

Она обнесла гостей, а затем подошла ко мне и, показав на пирожные, украшенные ломтиками засахаренных фруктов, сказала с заговорщическим видом:

— Они оставили самые вкусные. Попробуйте вот эти.

Я смог из себя выдавить только:

— Вы думаете?

Вот какими словами мы обменялись впервые с мадам Мегрэ.

Я отлично знаю, что, прочитав эти строки, она тихо скажет, пожав плечами:

— К чему об этом рассказывать?

В глубине души ей страшно нравится, как ее изобразил Сименон, — этакой доброй мамашей, в вечных хлопотах у плиты, чистюлей-хозяюшкой,

заботливой няней при взрослом младенце-муже. Думается мне, что благодаря этому портрету она еще раньше, чем я, всей душой полюбила Сименона как родного и бросалась на его защиту, когда я и не думал на него нападать.

Между тем этот портрет, как все портреты, вовсе не так уж точен. Когда я встретил Луизу в тот знаменательный вечер, она была довольно пухленькой девушкой с очень свежим личиком и веселыми живыми глазами, что выгодно отличало ее от остальных девиц.

А что было бы, если бы я не набросился на пирожные? Вполне возможно, она вовсе не заметила бы меня среди доброй дюжины молодых людей, явившихся в гости и служивших, кроме меня и моего приятеля Жюбера, в дорожном ведомстве.

Эти два слова — «дорожное ведомство» — обрели для нас с ней свой комический смысл, и, стоило кому-то из нас произнести их, другой непременно улыбался; да и сейчас еще мы многозначительно переглядываемся, если при нас упоминают дорожное ведомство.

Следовало бы для порядка изложить родословную Шеллеров, Куртов и Леонаров, в которой я долго не мог разобраться, а ведь она представ-

ляет мое семейство, как говорится, с жениной стороны.

Если вам случится ехать по Эльзасу из Страсбурга в Мюлуз, вы, по всей вероятности, о них услышите.

Насколько мне известно, Курт из Шарахбергейма еще при Наполеоне положил начало своего рода династии служащих в дорожном ведомстве. Говорят, в свое время он достиг немалых успехов и породнился с Шеллерами, чиновниками того же ведомства.

Затем в семейство влились Леонары, и с тех пор все родственники, отцы и сыновья, братья, зятья и кузены — словом, все или почти все члены семьи числились в этой корпорации, а когда один из Куртов стал весьма крупным пивоваром в Кольмаре, его сочли неудачником.

В тот вечер я обо всем этом только догадывался по неясным намекам Жюбера.

И когда мы с ним вышли под проливной дождь — на этот раз найти извозчика нам не удалось, — я уже почти сожалел, что ошибся в выборе профессии.

— Ну, что скажешь?

— О чем?

— Да о Луизе! Я не собираюсь тебя упрекать. Но

положение твое было весьма затруднительным. Ты заметил, с каким тактом она тебя выручила? Это удивительная девушка. Конечно, Алиса Перрэ более эффектна, но…

Я не знал, кто такая Алиса Перрэ. За весь вечер я познакомился только с девушкой в голубом, которая подходила ко мне поболтать между танцами.

— Алиса — та, что пела; она скоро станет невестой парня, который с ней пришел, его зовут Луи, его родители очень богаты.

В тот вечер мы расстались поздно. Всякий раз, когда ливень припускал с новой силой, мы заходили в какое-нибудь еще открытое бистро, чтобы спрятаться от дождя и выпить кофе. Феликс никак не мог меня отпустить и без умолку говорил о Луизе, заставляя меня признавать ее идеальные достоинства.

— Я знаю, шансов у меня маловато. Родители хотели подобрать ей мужа в дорожном ведомстве, потому и отправили ее к дяде Леонару. Понимаешь, в Кольмаре или Мюлузе все подходящие мужчины либо женаты, либо уже породнились с их семейством. Луиза здесь два месяца. И пробудет в Париже всю зиму.

— А она знает?

— Что?

— Что ей подыскивают мужа в дорожном ведомстве?

— Разумеется. Но ей все равно. Она девушка очень оригинальная, ты даже не представляешь. Не успел пока оценить ее по достоинству. Потолкуй с ней подольше в следующую пятницу. Если бы ты танцевал, все было бы куда проще. Почему бы тебе не взять пока два-три урока?

Я не стал учиться танцевать. И к счастью. Потому что Луиза, вопреки тому, что думал о ней милейший Жюбер, терпеть не могла кружиться в объятиях кавалера.

Две недели спустя произошло мелкое событие, которому я в то время придал очень большое значение, — да оно и впрямь сыграло довольно важную роль, только не ту, что предполагали.

Молодые инженеры, ходившие в гости в Леонарам, подчеркнуто держались в стороне от остальных гостей и пересыпали свою речь специальными словечками, понятными только посвященным.

Ненавидел ли я их? По всей вероятности. И вовсе не приходил в восторг от того, что они упорно называли меня комиссаром полиции. Эта полюбившаяся им игра начинала меня раздражать.

— Эй, комиссар!.. — кричали они мне через всю

гостиную.

И вот в один из таких вечеров, когда Жюбер и Луиза болтали в уголке возле какого-то цветка, который я хорошо запомнил, к ним подошел щупленький юнец в очках и стал что-то нашептывать, ехидно поглядывая в мою сторону.

Несколько минут спустя я спросил приятеля:

— Что он сказал?

Жюбер смущенно увильнул от ответа:

— Да ничего.

— Гадость какую-нибудь?

— Расскажу, когда выйдем.

Очкарик между тем подходил то к одной, то к другой группе гостей, и все, по-видимому, забавлялись на мой счет.

Все, кроме Луизы, — она в тот вечер несколько раз отказывалась танцевать, предпочитая болтать со мной.

Едва мы вышли, я опять спросил Феликса:

— Что он сказал?

— Сперва ответь мне правду: чем ты занимался до того, как стал секретарем комиссара?

— Ну… служил в полиции…

— Форму носил?

Вот оно что! Вот где собака зарыта! Очкарик видел меня когда-то в форме, а теперь узнал.

Представляете себе? Рядовой полицейский среди господ из дорожного ведомства!

— А она что сказала? — еле выдавил я из себя.

— Она была на высоте. Она всегда на высоте. Ты мне не веришь, но сам увидишь…

Бедняга Жюбер!

— Она ответила, что форма, несомненно, шла тебе больше, чем пошла бы ему.

И все же в следующую пятницу я не явился на бульвар Бомарше. Я избегал Жюбера. Через две недели он сам ко мне пришел.

— Кстати, о тебе справлялись в прошлую пятницу.

— Кто?

— Мадам Леонар. Спрашивала, не заболел ли ты.

— Я был очень занят.

Но я не сомневался, что мадам Леонар заговорила обо мне потому, что ее племянница…

Ладно! Пожалуй, не стоит входить в дальнейшие подробности. Мне и без того придется отстаивать только что написанное, чтобы оно не попало в мусорную корзину.

Примерно в течение трех месяцев Жюбер, сам того не подозревая, играл незавидную роль, хотя мы вовсе не собирались его обманывать. Он

приходил за мной в гостиницу и повязывал мне галстук, ссылаясь на то, что я не умею одеваться. Он говорил мне, видя, что я в одиночестве сижу в уголке гостиной:

— Поухаживал бы ты за Луизой. Ты просто невежа.

Он настойчиво твердил, когда мы выходили на улицу:

— Напрасно ты думаешь, что ей с тобой неинтересно. Напротив, ты ей очень нравишься. Она постоянно о тебе спрашивает.

Незадолго до Рождества приятельница Луизы, та, что немного косила, стала невестой пианиста, и они перестали бывать на бульваре Бомарше.

Не знаю, то ли поведение Луизы охладило пыл ее поклонников, то ли мы с ней не очень ловко скрывали свои чувства. Как бы то ни было, но с каждой пятницей число гостей в доме Жеральдины и Ансельма убывало.

Решительное объяснение с Жюбером произошло в феврале у меня в комнате. В ту пятницу он пришел не во фраке, что я сразу заметил. Лицо его выражало горечь и покорность судьбе — ни дать ни взять вылитый актер «Комеди Франсэз»!

— Я все же пришел завязать тебе галстук, несмотря ни на что! — сказал он, криво усме-

хаясь.

— Ты сегодня занят?

— Напротив, свободен, совершенно свободен, свободен как ветер, свободен как никогда! — Стоя передо мной с белым галстуком в руке, он поглядел на меня в упор и проговорил: — Луиза мне все сказала.

Меня словно обухом по голове ударили. Мне-то она еще ничего не сказала. И я ей тоже еще ничего не сказал.

— О чем ты говоришь?

— О тебе и о ней.

— Но…

— Я ей задал вопрос. Специально ходил к ней вчера.

— Какой вопрос?

— Я спросил, согласна ли она выйти за меня.

— Она сказала, что нет?

— Она сказала, что нет, что очень хорошо ко мне относится, что я всегда буду ее лучшим другом, но…

— Она говорила обо мне?

— Прямо нет.

— Так что же?

— Я все понял! Мне следовало бы понять это с первого вечера, когда ты объедался пирожными,

а она понимающе смотрела на тебя. Если женщина так смотрит на мужчину, который ведет себя как ты тогда…

Бедный Жюбер! Мы почти сразу же потеряли его из виду, точно так же как всех господ из дорожного ведомства, за исключением дядюшки Леонара.

Несколько лет мы не знали, что сталось с Жюбером.

Мне было уже под пятьдесят, когда однажды в Марселе я зашел в аптеку на улице Канебьер купить аспирину и вдруг услышал возглас:

— Мегрэ!

— Жюбер!

— Что ты поделываешь? Впрочем, глупый вопрос, я знаю все из газет. Как Луиза?

Потом он рассказал мне о своем старшем сыне, который по иронии судьбы готовился к экзамену на дорожного инженера.

После исчезновения Жюбера на бульваре Бомарше по пятницам стало собираться еще меньше народу, и подчас даже некому было аккомпанировать танцам. В этих случаях за пианино садилась Луиза, а я переворачивал страницы, пока одна-две пары кружились в столовой, казавшейся теперь слишком просторной.

Я, кажется, так и не спросил Луизу, согласна ли она выйти за меня. Чаще всего мы говорили о моей профессии, о полиции, о работе инспектора.

Я сказал ей, сколько буду получать, если меня наконец переведут на набережную Орфевр, и добавил, что этого придется ждать по крайней мере еще года три, а до тех пор моего жалованья не хватит, чтобы создать приличный семейный очаг.

Рассказал я также о своих встречах о Ксавье Гишаром, уже тогда нашим шефом, — он не забыл моего отца и в определенном смысле взял меня под свое покровительство.

— Не знаю, нравится ли вам Париж. Мне ведь придется всю жизнь прожить в Париже.

— Но и здесь можно жить спокойно, как в провинции?

Наконец в одну из пятниц я не застал никого из гостей: Жеральдина в черном шелковом платье сама открыла мне дверь и как-то торжественно пригласила:

— Войдите.

Луизы в гостиной не было. Не было ни подноса с пирожными, ни напитков. Огня в камине тоже не было, потому что пришла весна. Гостей явно не ждали, и я застыл со шляпой в руке, чувствуя

себя глупо во фраке и лаковых туфлях.

— Скажите, молодой человек, какие у вас намерения?

Это была, вероятно, одна из самых трудных минут в моей жизни. Голос Жеральдины звучал сухо и сурово. Я не смел поднять взгляда и видел на пестром узоре ковра лишь край черного платья и узкий кончик туфельки. Уши мои пылали.

— Клянусь вам… — пробормотал я.

— Мне клятв не надо. Мне надо знать, намерены ли вы жениться на ней.

Я наконец взглянул на Жеральдину — никогда прежде я не видел, чтобы лицо старой женщины было таким лукавым.

— Разумеется!

Мне не раз говорили потом, будто я вскочил как ужаленный и повторил громче:

— Еще бы, разумеется!

А в третий раз почти заорал:

— Разумеется, конечно!

Жеральдина, нисколько не повысив голоса, позвала:

— Луиза!

И Луиза, стоявшая тут же, за приоткрытой дверью, сразу вошла, смущенная, красная, точь-в-точь как я.

— Ну, что я тебе говорила? — спросила тетя.

— Как? — вмешался я. — Значит, она этого не предполагала?

— Я не была уверена. Это все тетя…

Опустим дальнейшее, иначе моя домашняя цензура вычеркнет весь этот эпизод.

Должен сказать, что старик Леонар проявил значительно меньше радости и так и не простил мне, что я не служу в дорожном ведомстве. Этот древний, едва не столетний старец, прикованный болезнями к креслу, покачивал головой, глядя на меня так, будто отныне что-то разладилось в механизме Вселенной.

— Придется вам взять отпуск и поехать в Кольмар. Может быть, на Пасху, как вы думаете?

Жеральдина сама написала родителям Луизы и, подготовив их, чтобы смягчить удар, как она выражалась, сообщила новость.

Но на Пасху мне дали только двое суток отпуска.

И большую часть времени я провел в дороге — в ту пору поезда ходили значительно медленнее, чем сейчас.

Меня приняли учтиво, но без особого восторга.

— Лучший способ проверить, насколько серьезны чувства у вас обоих, — это расстаться

на некоторое время. Луиза проведет лето здесь. Осенью вы опять к нам приедете.

— А писать ей я смогу?

— Не слишком часто. Скажем, раз в неделю.

Сейчас это кажется смешным. Тогда мне было не до смеха.

Я решил, и вовсе не из скрытой жестокости, пригласить Жюбера шафером. Когда я пошел к нему в аптеку на бульвар Сен-Мишель, его там уже не было и никто не знал, куда он делся.

Почти все лето я пробегал в поисках квартиры и нашел ее наконец на бульваре Ришар-Ленуар.

— Пока не подыщу чего-нибудь получше, понимаешь? А когда меня назначат инспектором…

Глава 5,
в которой говорится вперемежку о башмаках с подковами, апашах, проститутках, отдушинах, тротуарах и вокзалах

Несколько лет тому назад стали у нас поговаривать, что неплохо-де учредить нечто вроде клуба, а еще лучше — устраивать каждый месяц обед под названием «Обед подкованных башмаков». Как бы то ни было, собрались мы в пивной «У дофины» за аперитивом. Обсудили, кого на обед допускать, кого нет. И совершенно серьезно задались вопросом, считать ли своими тех, кто работает на другую фирму, иначе говоря, сотрудников с улицы Соссе.

Как следовало ожидать, дело на том и кончилось.

В то время, пожалуй, лишь мы четверо из всех комиссаров уголовной полиции еще гордились прозвищем «подкованные башмаки», которым нас когда-то наградили сочинители песенок, молодые же инспектора, только что пришедшие со школьной скамьи, называли так между собой

стариков, выслужившихся из рядовых полицейских.

И в самом деле, когда-то звание получали лишь через несколько лет, и одних экзаменов было недостаточно. Инспектор мог рассчитывать на повышение, стоптав не одну пару башмаков едва ли не на всех полицейских службах.

Не так-то просто все это объяснить нынешнему молодому поколению.

«Подкованные башмаки» и «усищи» — вот определения, которые напрашивались сами собой, едва речь заходила о полиции.

И я тоже, ей-богу, не один год ходил в подкованных башмаках. Вовсе не потому, что мне так нравилось. И не потому, что мы считали, если верить карикатуристам, такую обувь самой элегантной и удобной, — причины были куда более прозаические.

Точнее, их было две. Первая — наше жалованье, еле позволявшее, как говорится, сводить концы с концами.

Часто можно услышать разговоры о веселой и беззаботной жизни в первом десятилетии нашего века. Молодежь с завистью называет тогдашние цены: сигары «Лондрес» по два су за штуку, обед с вином и кофе — двадцать су. И при этом забыва-

ет, что начинающий чиновник получал меньше ста франков.

В пору моих уличных дежурств за рабочий день, а длился он нередко часов тринадцать-четырнадцать, я в любую погоду проходил по тротуарам не один километр.

Таким образом, починка обуви была одной из основных проблем нашей семейной жизни. Когда я в конце месяца приносил жене конверт с жалованьем, она раскладывала деньги на кучки:

— За мясо… За квартиру… За газ… — А для последней кучки оставалось несколько серебряных монет. — Тебе на башмаки…

Мы постоянно мечтали купить мне новые башмаки, но еще долго мечта эта оставалась только мечтой. Я подолгу скрывал от жены, что башмаки мои текут и подметки, еле державшиеся на гвоздях, жадно впитывают влагу с мостовой.

Я говорю здесь об этом отнюдь не с горечью, а с улыбкой, мне кажется, рассказать об этом необходимо, чтобы дать представление о тогдашней жизни полицейского чиновника.

Такси в те годы не было, но, если бы даже машины шли по улицам вереницей, они оставались бы для нас недоступными, как недоступны были извозчики, которых мы нанимали только в ис-

ключительных случаях.

К тому же наружная служба как раз в том и заключается, чтобы ходить взад-вперед по тротуарам, сновать в толпе с утра до вечера или с вечера до утра.

Почему-то, когда я думаю об этом времени, мне прежде всего приходит на память дождь. Будто дождь лил тогда не переставая и вообще погода стояла совсем не та, что теперь. Это, очевидно, потому, что дождь еще больше осложнял нашу работу. От него не только насквозь промокали носки, но и пальто, которое постепенно превращалось в холодный компресс, и шляпа, с полей которой стекали ручейки, синели засунутые в карманы руки.

Улицы освещались гораздо хуже, чем теперь. Многие из них на окраине были немощеными. По вечерам в темноте загорались желтоватые квадраты окон — комнаты освещались преимущественно керосиновыми лампами, а у тех, кто победнее, — сальными свечами.

А еще были апаши.

Повелась такая мода — шалить с ножом в темноте, и не обязательно ради выгоды, не всегда ради бумажника или часов прохожего. Видимо, просто хотелось доказать самому себе, что ты

мужчина, гроза здешних мест, покуражиться перед потаскушками, которые в черных плиссированных юбках с пышными прическами поджидали клиентов на панели, под газовым фонарем.

Оружия у нас не было. Вопреки обывательским представлениям, полицейский в штатском не имеет права носить оружие, а если нам и случается взять с собой револьвер, это делается в нарушение правил и под личную ответственность.

Но молодые, конечно, не могли себе это позволить.

Между тем по иным улицам, вблизи Ла-Виллетт, Менильмонтана и Итальянских ворот, мы ходили весьма неохотно и подчас вздрагивали от стука собственных башмаков.

О телефоне тоже долгое время мы лишь мечтали, он был нам не по карману. Если я задерживался на несколько часов, я не мог позвонить жене, и она проводила вечер в одиночестве, сидя в столовой при свете газового рожка, прислушивалась к шагам на лестнице и по нескольку раз подогревала обед.

Что касается усов, знакомым всем по карикатурам, они тоже вполне соответствуют дей-

ствительности. Ведь безусый мужчина мог легко сойти за лакея!

Усы у меня были довольно длинные, цвета красного дерева, чуть потемнее отцовских и с острыми кончиками.

Со временем они становились все короче, пока не достигли размера зубной щетки, а потом и вовсе исчезли.

Что правда, то правда — большинство инспекторов щеголяли в усищах цвета ваксы, столь излюбленных карикатуристами. Это объясняется тем, что по какой-то загадочной причине профессия наша очень долго привлекала главным образом уроженцев Центрального массива.

Мало найдется в Париже улиц, где я не сбивал каблуков, внимательно глядя по сторонам и постепенно узнавая все ближе уличный люд: попрошаек, шарманщиков и цветочниц, ловких жуликов и карманников, а также проституток и пьяниц старух, почти каждую ночь попадавших в полицейский участок.

По ночам я обходил Центральный рынок, площадь Мобер, набережные и глухие уголки по соседству с ними.

Но самая трудная работа была на ярмарке Трона и ярмарке Нейи на Блошином рынке, на

бегах в Лоншане, во время патриотических манифестаций, военных парадов, торжеств в честь иностранных коронованных особ, сопровождаемых кортежем открытых колясок, и во время представлений бродячих цирков.

После нескольких лет и даже месяцев нашей службы память запечатлевает довольно много фигур и лиц, которые остаются в ней навсегда.

Я хотел бы — хотя это и нелегко — рассказать более или менее точно о взаимоотношениях с нашей клиентурой, включая тех, кого нам регулярно приходилось забирать.

Нечего и говорить, что романтическую сторону профессии мы довольно скоро перестаем замечать. Мы вынуждены смотреть на парижские улицы взглядом сыщика, мгновенно схватывая знакомые детали, то или иное изменение, чтобы тут же сделать вывод.

Раз уж я перешел к этому, начну с того, что всегда меня занимало, — в той связи, какая возникает между полицейским и дичью, за которой он охотится.

Прежде всего, полицейский за очень редким исключением — совершенно не чувствует никакой ненависти или даже злобы.

Не чувствует и жалости в том смысле, какой

обычно придают этому слову.

Отношения наши, если хотите, чисто профессиональные.

Мы видим слишком многое, чтобы удивиться новым бедам или новым порокам, это легко можно понять.

Поэтому порок не вызывает у нас такого возмущения, а беда — такого сострадания, как у человека, не знакомого с темными сторонами жизни.

Зато существует другое, что безуспешно пытался передать Сименон, — существует, как это ни парадоксально, некая родственная связь между полицейскими и правонарушителями.

Только, прошу вас, не поймите меня превратно.

Разумеется, мы находимся по разные стороны баррикады. Но в то же время мы до известной степени попадаем в одни и те же переделки.

Башмаки текут как у проститутки с бульвара Клиши, так и у инспектора, который за ней наблюдает, и у обоих гудят ноги от бесконечного топтания по асфальту.

Они мокнут под тем же дождем и мерзнут на том же ледяном ветру. Вечер и ночь окрашены для них в один и тот же цвет, и оба едва ли не

в равной мере знают, что представляет собой окружающая их толпа.

То же бывает и на ярмарке. Вот сквозь толпу пробирается карманник, для него эта ярмарка и вообще любое скопище людей — не праздник, не карусели, не полотняный шатер цирка и не расписные пряники, а бумажники в карманах у разинь.

Точь-в-точь как для полицейского. И тот и другой с первого взгляда отличают в толпе благодушного провинциала, сулящего вору превосходную поживу.

Сколько раз мне случалось часами следить за знакомым карманником, хотя бы за тем, которого мы прозвали Веревкой. Он знал, что я иду за ним по пятам, вижу малейшее его движение. Он знал, что я наблюдаю за ним. А я, в свою очередь, знал, что он знает о моем присутствии.

Его делом было во что бы то ни стало стащить часы или бумажник, а моим — помешать ему или схватить с поличным.

И что же? Бывало, Веревка обернется и поглядит на меня с улыбкой. Я тоже улыбнусь. Случалось даже, он заговаривал со мной, вздыхал: «Туговато придется!»

Мне было известно, что он на мели и сумеет

вечером поесть только в том случае, если ему сейчас посчастливится. И для него не были тайной мои сто франков в месяц, рваные башмаки и жена, с нетерпением поджидающая меня после работы.

Я, должно быть, раз десять арестовывал его, вежливо, со словами:

— Ну, засыпался!

И у него, почти как у меня, сразу становилось легче на душе. Это ведь означало, что в участке он поест и переночует под крышей. Иные хорошо знали нас всех и спрашивали:

— Кто нынче дежурит?

Потому что одни разрешали курить, а другие — нет.

Целых полтора года после того, как меня перевели в универмаги, я с тоской вспоминал дежурство на улице.

После дождя, холода, солнца и пыли я целыми днями вдыхал перегретый воздух, запах шевиота, сурового полотна, линолеума и ниток.

В то время в проходах между отделами размещались отдушины отопления, откуда поступал сухой горячий воздух. Это было приятно, если войти с улицы промокшим от дождя. Стоило встать над такой отдушиной, и тебя окутыва-

ло облако пара. Но через несколько часов уже хотелось быть поближе к дверям — все же они открывались и впускали немного свежего воздуха.

А ведь надо было держаться естественно! Изображать из себя покупателя! Легко это, по-вашему, если на этаже торгуют только корсетами, женским бельем или мотками шелка?

— Будьте любезны проследовать за мной, без шума.

Некоторые тотчас понимали, в чем дело, и молча шли за нами в кабинет администратора. Другие разыгрывали возмущение, поднимали крик или закатывали истерику.

Однако и здесь у нас была постоянная клиентура.

В магазинах «Бон-Марше», «Прэнтан» или «Лувр» часто встречались одни и те же фигуры, обычно женщины среднего возраста, прятавшие невообразимое количество разнообразных товаров в специально пришитый под платье к нижней юбке карман.

Сейчас, когда оглядываешься на прошлое, полтора года кажутся пустяком. Тогда же каждый час тянулся, как в приемной у зубного врача.

— Ты сегодня в «Галери Лафайет»? — спросит, бывало, жена. — Я как раз собираюсь там кое-что

купить.

Но там мы с ней не разговаривали. Делали вид, что незнакомы. Это было восхитительно. Я с радостью смотрел, как она с гордым видом расхаживает по отделам, иногда подмигивая мне исподтишка.

Не думаю, чтобы и она могла бы представить себя замужем не за полицейским инспектором. Она знала по имени всех моих сотрудников, говорила запросто о тех, кого и в глаза не видела, об их привычках, успехах или неудачах.

Прошло немало лет, пока я наконец решился в одно из своих воскресных дежурств привести ее в здание на набережной Орфевр, но оказалось, что ей там все знакомо. Она расхаживала, как у себя дома, осматривая то, что так хорошо знала по моим рассказам.

Наконец она заметила:

— Здесь не так грязно, как я думала.

— А почему здесь должно быть грязно?

— Какая уж чистота там, где бывают только мужчины. К тому же от них пахнет.

Я не пригласил ее в предварилку, где дух действительно был тяжеловат.

— А здесь, слева, чье место?

— Торранса.

— Это толстяка-то? Как же я сразу не догадалась! Он настоящий ребенок. Вон, до сих пор вырезает свои инициалы на столе. А где сидит папаша Лагрюм, который исходил весь Париж?

Раз уж я заговорил о башмаках, расскажу историю, когда-то растрогавшую мою жену.

Лагрюм, папаша Лагрюм, как мы его звали, был старше всех нас, но выше инспектора так и не поднялся. Он был печальный и долговязый. Летом всегда болел сенной лихорадкой, которая с первыми холодами сменялась хроническим бронхитом, и глухой кашель папаши Лагрюма эхом отдавался во всех кабинетах уголовной полиции.

К счастью, он тут бывал довольно редко. Однажды, говоря о кашле, он, на свою беду, ляпнул: «Врач велит мне побольше бывать на воздухе».

С этого дня воздух был ему обеспечен, даже с избытком.

Был он голенастым, большеногим, и ему поручали самые невообразимые розыски, когда приходится гонять по всему Парижу день за днем, без всякой надежды на удачу.

— Придется поручить это Лагрюму!

Всем было ясно, что означают эти слова, всем, кроме нашего простака, который с серьезнейшим

видом записывал в блокнот кое-какие данные и уходил, сунув под мышку зонтик и отвесив нам общий поклон.

Теперь мне часто приходит в голову: а что, если он понимал, какую роль ему отводили? И безропотно смирился со своей судьбой. Ежедневно в течение многих лет больная жена дожидалась, когда он вернется в пригородный домик и займется хозяйством. А когда дочь вышла замуж, он, по-моему, вставал по ночам и нянчил младенца.

— Лагрюм, от тебя опять детскими пеленками пахнет!

На улице Коленкур убили старую женщину. Это было рядовое преступление, не вызвавшее газетной шумихи, так как жертвой оказалась никому не известная старушонка, жившая на ничтожную ренту.

Такие дела, как правило, оказываются самыми трудными. У меня в универмагах была горячая пора — близились рождественские праздники, и я не был подключен к этому делу, но ознакомился, как и все наши, с данными расследования.

Орудием убийства был кухонный нож, найденный на месте преступления. Он же был единственной уликой.

Самый обыкновенный нож, такой можно ку-

пить у торговца скобяными товарами, или у лоточника на рынке, или в любой мелочной лавчонке, а фабрикант, которого вскоре разыскали, утверждал, что десятки тысяч этих ножей разошлись по Парижу и его окрестностям.

Нож был новым. Его, видимо, приобрели специально для убийства. На черенке еще можно было прочесть цену, написанную несмываемым карандашом.

Это вселяло смутную надежду обнаружить торговца, у которого была сделана покупка.

— Лагрюм! Займитесь-ка этим ножом.

Лагрюм завернул нож в клочок газеты, сунул его в карман и ушел.

Он ушел в странствие по Парижу, которому суждено было длиться девять недель. Каждое утро Лагрюм являлся за ножом, убранным накануне в ящик стола.

Каждое утро мы смотрели, как он кладет орудие преступления в карман, берет зонтик и уходит, не забыв раскланяться.

Потом я узнал, сколько было лавок, — ведь дело это стало легендарным, — где могли купить нож. Даже если не выходить за городские стены и ограничиться двадцатью округами Парижа, число получается фантастическим.

О транспорте не могло быть и речи. Надо было ходить с улицы на улицу, чуть ли не от двери к двери.

Лагрюм носил в кармане план Парижа и зачеркивал на нем улицу за улицей.

Думаю, в конце концов даже начальство забыло, каким делом он занимается.

— Лагрюм свободен?

Кто-нибудь отвечал, что Лагрюм занят розыском, и больше вопросов не задавалось. Как я уже говорил, близилось Рождество. Зима стояла холодная и дождливая, грязь налипала на башмаки, а Лагрюм без устали таскался по улицам со своим бронхитом, глухо кашлял и не раздумывал, есть ли смысл в этих его хождениях.

Через девять недель, уже после Нового года, в мороз, он явился днем в уголовную полицию, все такой же спокойный и унылый, без радости или хотя бы облегчения во взгляде.

— Шеф здесь?

— Нашел?

— Нашел!

Не в скобяной лавке, не на рынке, не у торговца хозяйственными товарами. Все эти места он обошел понапрасну.

Нож был куплен в писчебумажном магазине на

бульваре Рошешуар. Владелец узнал свой почерк, припомнил молодого человека в зеленом шарфе, сделавшего у него покупку два месяца назад.

Он сообщил довольно точные приметы, убийца был арестован и через год казнен.

А Лагрюм скончался на улице, но не от бронхита, а от паралича сердца.

Прежде чем рассказать о вокзалах, и в частности о Северном, к которому у меня все еще есть счет, мне хочется в двух словах коснуться довольно неприятной для меня темы.

Меня часто спрашивают, когда разговор заходит о первых годах моей службы:

— А в полиции нравов вы состояли?

Теперь полиция нравов переменила название. Ее стыдливо именуют Светской бригадой.

Ну что ж! И через это я прошел, как большинство моих собратьев. Служил я в полиции нравов недолго.

Несколько месяцев, не больше.

И сейчас, отлично понимая необходимость этой службы, я лишь смутно и с некоторой неловкостью припоминаю свои дни там.

Я уже говорил о фамильярных отношениях, которые сами собой возникают между полицейскими и теми, за кем они следят.

В силу определенных обстоятельств подобное панибратство бытует и в полиции нравов. Даже, пожалуй, оно там больше принято, чем в остальных службах. В самом деле, у каждого инспектора под опекой, если можно так выразиться, находится довольно постоянное число женщин, которых всегда можно встретить на одном и том же месте, у дверей той же гостиницы, под тем же фонарем, а тех, кто повыше рангом, — на террасе все той же пивной.

Я тогда еще не располнел и выглядел, как говорили многие, моложе своих лет.

Если вы вспомните историю с птифурами на бульваре Бомарше, вы поймете, что в некоторой области я был довольно робок.

Большинство полицейских держались с девками на короткой ноге, звали их по именам или кличкам, и повелось даже во время облавы, когда проституток сажали в «черный ворон», соревноваться с ними в похабстве и со смехом перебрасываться самыми грязными, непотребными ругательствами.

Еще эти дамы имели обыкновение задирать юбку и с нахальными выкриками показывать нам зад. Это, должно быть, казалось им крайним издевательством.

Первое время меня, вероятно, бросало в краску, я тогда вообще легко краснел. Смущение мое было замечено — уж мужчин-то эти женщины знало неплохо. И я тотчас же стал для них если не паршивой овцой, то козлом отпущения.

На набережной Орфевр меня всегда называли по фамилии, и я уверен, что многим сотрудникам и по сию пору неизвестно мое имя. Сам бы я, конечно, такое имя не выбрал, если бы меня спросили. Но я его не стыжусь.

Уж не подшутил ли надо мной какой-нибудь инспектор, которому было известно мое имя?

Под моим надзором находились улицы, прилегающие к Севастопольскому бульвару, где собирались, особенно возле Центрального рынка, девки самого низкого пошиба, в частности старые проститутки, нашедшие здесь своеобразное убежище.

Здесь же получали боевое крещение молоденькие служанки, недавно приехавшие из Бретани или из других мест, и таким образом сталкивались две крайности: шестнадцатилетние девчонки, которых отбивали друг у друга сутенеры, и ведьмы без возраста, отлично умевшие за себя постоять.

Однажды они принялись меня изводить, и ско-

ро это вошло у них в привычку. Я проходил мимо старухи, торчавшей у входа в убогую гостиницу, и вдруг услышал, как она крикнула мне, оскалив в усмешке гнилые зубы:

— Привет, Жюль![1]

Я подумал было, что она назвала наудачу первое пришедшее на ум имя, но немного погодя, через несколько шагов, услышал опять:

— Как дела, Жюль?

Затем последовал хохот и непередаваемые здесь реплики сбившихся в кучку девиц.

Я знаю, как поступили бы иные на моем месте. Без долгих размышлений забрали бы кой-кого из девок и упрятали в тюрьму Сен-Лазар. Острастка подействовала бы на остальных, и, по всей вероятности, со мной стали бы держаться впредь более уважительно. Но я этого не сделал. И вовсе не из чувства справедливости. И уж совсем не из жалости.

Скорее всего, мне не хотелось играть в эту игру. Я предпочел сделать вид, что не слышу. Надеялся, что им скоро надоест. Но они ведь все равно что дети — никогда не знают границ.

О пресловутом Жюле сочинили песенку, и, сто-

---

[1] notes: 1

На жаргоне — «ухажер, сутенер, сводник».

ило мне появиться, ее принимались распевать или, вернее, орать во все горло. Некоторые говорили, когда я проверял их документы: «Ну, Жюль, будь человеком! Ты ведь у нас симпатяга!»

Бедная Луиза! Ее в те дни пугало не то, что я могу поддаться соблазну, а то, что я занесу домой дурную болезнь. Порой я набирался блох. Поэтому, едва я возвращался домой, Луиза заставляла меня раздеваться и садиться в ванну, а сама чистила щеткой мою одежду на лестничной площадке или у открытого окна.

— Наверное, ты к ним прикасался! Смотри, хорошенько вымой под ногтями!

Говорили же, что можно заразиться сифилисом, выпив из плохо вымытого стакана!

Все это было не очень-то приятно, но зато я научился всему, чему следовало. Ведь я сам выбрал такую работу, верно?

Ни за что на свете не стал бы я тогда просить о переводе в другую бригаду. Начальство само перевело меня, когда сочло нужным, разумеется, в интересах дела, а не потому, что заботилось обо мне.

Назначили меня на вокзалы. Точнее, прикрепили к черному, угрюмому зданию, именуемому Северным вокзалом.

Вокзал, как и универмаг, хорош тем, что там не мокнешь под дождем. Зато от холода и ветра не укроешься — нигде в мире, должно быть, нет таких сквозняков, как на вокзалах, и в частности в здании Северного вокзала, поэтому некоторое время я мог по простудам соперничать со стариком Лагрюмом.

Только, пожалуйста, не воображайте, будто я на что-то жалуюсь и пользуюсь случаем излить застарелую злобу, описывая неприглядную изнанку парадного фасада.

Я был совершенно счастлив. Был счастлив, когда мерил шагами улицы, и не менее счастлив, когда следил в универмагах за так называемыми клептоманами.

Я чувствовал, что мало-помалу знакомлюсь со своим ремеслом, все глубже постигаю его сложности.

Всякий раз, например, когда мне случается проходить мимо Восточного вокзала, я невольно хмурюсь, вспоминая о мобилизации. Зато на Лионском вокзале, как и на вокзале Монпарнас, я вспоминаю время отпусков.

А Северный вокзал, самый холодный и самый деловой, неизменно наводит на мысль о жесткой и отчаянной борьбе за хлеб насущный. Не потому

ли, что оттуда уезжают на шахты и заводы?

По утрам среди пассажиров первых поездов, прибывающих из Бельгии и Германии, почти всегда можно заметить торговцев контрабандными товарами, темных дельцов, чьи лица кажутся еще наглей в резком свете, льющемся сквозь стеклянную крышу вокзала.

И это не всегда мелкие жулики. Встречаются среди них и профессионалы международного класса, со своими агентами, подставными лицами и наемными убийцами, ведущие крупную игру и готовые защищаться любыми средствами.

Едва успеет рассосаться эта толпа, как начинают прибывать поезда из пригородов, но не из веселых деревень запада или юга, а из прокопченных, грязных поселков.

А из Парижа по направлению к ближайшей границе — бельгийской — стремятся те, кому по разным причинам надо бежать из Франции.

Сотни людей ждут в сером полумраке, насыщенном дымом и потом, беспорядочно толкутся, бегают от билетных касс к камерам хранения, изучают расписание, едят, пьют среди детей, собак и чемоданов и почти всегда измучены бессонной ночью, боязнью опоздать или страхом перед будущим в чужих краях.

Каждый день я подолгу наблюдал за ними, высматривая в толпе особенно замкнутое лицо, с глазами, уставленными в одну точку, лицо мужчины или женщины, для которых эта ставка — последняя.

Поезд уже подан и уйдет через несколько минут. Осталось только пройти сто метров, протянуть контролеру билет, зажатый в кулаке. Стрелки судорожно прыгают по огромному желтоватому циферблату вокзальных часов.

Орел или решка! Свобода или тюрьма. Или еще хуже.

А у меня в бумажнике — фотография, либо особые приметы, либо только скрупулезное описание уха.

Иногда мы одновременно замечаем друг друга, взгляды наши скрещиваются. И почти всегда он сразу все понимает.

Дальше все зависит от характера человека, от того, чем грозит ему встреча со мной, от его нервов, а то и от сущего пустяка — от раскрытой или закрытой двери, от чемодана, случайно оказавшегося между нами.

Он может пуститься наутек — тогда начнется отчаянная погоня сквозь толпу, которая возмущается или шарахается, по вагонам, стоящим на

запасных путях, по шпалам, по стрелкам.

Всего за три месяца я встретил двух мужчин, — один из них был совсем юный, — которые при виде меня поступили совершенно одинаково. Оба сунули руку в карман, будто за пачкой сигарет. А через мгновение здесь же, среди толпы, не сводя с меня взгляда, пустили себе пулю в лоб.

Эти двое ничего не имели против меня, как и я против них. Каждый из нас делал свое дело. Они проиграли, вот и вышли из игры.

Я тоже оказался в проигрыше, так как должен был передать их живыми в руки правосудия.

Тысячи раз я провожал поезда. Тысячи раз встречал их и всякий раз наблюдал все ту же суматоху, бесконечные вереницы людей, устремляющихся неведомо куда.

У меня это стало своеобразной манией, как и у всех наших сотрудников. Даже если я не дежурю, даже если я, что уже почти невероятно, еду с женой в отпуск, мой взгляд невольно скользит по лицам пассажиров и очень редко не останавливается на человеке, которому страшно, хотя он старается всячески скрыть этот страх.

— Да идем же! Что с тобой?

И пока мы не сядем в купе, вернее, пока не тронется поезд, жена моя не может быть уверена,

что поездка в самом деле состоится.

— Куда ты смотришь? Ведь ты не на дежурстве!

Я вздыхаю, иду за ней и в последний раз оборачиваюсь, чтобы бросить взгляд на загадочное лицо, уже теряющееся в толпе. Иду всегда нехотя.

Не думаю, чтобы я руководствовался служебным рвением или особой любовью к правосудию.

Повторяю, идет игра, и этой игре нет конца. Раз ты в ней участвуешь, трудно, а то и невозможно ее бросить.

Доказательство тому — нередкие случаи, когда полицейский, уйдя в отставку, и не всегда по своей воле, открывает частное сыскное агентство.

Впрочем, это уж, как говорится, с горя; я знаю, что любой из нас, как бы ни проклинал он тридцать лет подряд свою злополучную долю, готов вернуться в полицию и работать даже бесплатно.

Я сохранил мрачное воспоминание о Северном вокзале. Сам не знаю почему, но я всегда представляю его рано утром, окутанным сырым, липким туманом, полным невыспавшихся людей, бредущих как стадо к платформам или к

выходу на улицу Мобеж. Представителей человеческой породы, с которыми я там сталкивался, можно отнести к самым несчастным, и, вспоминая иные тамошние аресты, я испытываю скорее раскаяние, нежели профессиональную гордость.

И все же, если бы мне предложили выбирать, я предпочел бы вновь занять пост у выхода на платформу, а не уехать с другого, более нарядного вокзала в солнечный уголок Лазурного берега.

Глава 6,
в которой только одно: этажи, этажи и еще этажи!

Изредка, чаще всего вследствие политических потрясений, на улицах Парижа вспыхивают беспорядки, которые не только и не всегда выражают народное недовольство. Кажется, где-то образуется брешь, открываются невидимые шлюзы, и богатые кварталы города наводняются существами, о которых там понятия не имели; на них, словно выползших из какого-то паноптикума, с изумлением взирают из окон, как на разбойников, возникших из тьмы средневековья.

Особый размах приобрели беспорядки после событий шестого февраля[2], и мне показалось странным удивление, с которым откликнулись на них на следующий день едва ли не все газеты.

Несколько часов центр Парижа заполняли толпы истощенных людей; это испугало тамошних обитателей не меньше, чем появление стаи волков, и вызвало неожиданную тревогу у га-

---

[2] notes: 2

1934 года, в Париже прошли массовые выступления профашистских группировок.

зетчиков, хотя по роду своей деятельности они знают подспудную жизнь столицы не хуже нас.

В тот день Париж в самом деле перепугался. А назавтра, едва порядок был восстановлен, забыл о том, что это «отребье» не уничтожено раз и навсегда, а просто вернулось в свое логово.

Ну а зачем тогда полиция, как не затем, чтобы держать его там и не выпускать?

Вряд ли кому известно, что существует бригада, специально занимающаяся двумястами или тремястами тысячами африканцев, португальцев и итальянцев, которые поселились, а лучше сказать, расположились табором в Двадцатом округе, еле знают или совсем не знают наш язык и повинуются особым законам и инстинктам, отличным от наших.

У нас, на набережной Орфевр, есть карты, где цветным карандашом обозначены своеобразные островки — обиталища евреев на улице Розье, итальянцев в районе Отель-де-Виль, русских на улицах Терн и Данфер-Рошро.

Многие из них готовы ассимилироваться и не доставляют нам хлопот, зато есть группы или личности, которые сами поставили себя вне общества и живут незаметно для окружающих, своей таинственной жизнью.

Именно люди добропорядочные, из тех, что плутуют по мелочам и ловко обделывают свои темные делишки, обычно спрашивают с хорошо знакомой мне брезгливой гримасой:

— Неужели вам не бывает противно?

Они не имеют в виду что-либо определенное, но подразумевают всех, с кем мы имеем дело. А хочется им одного — чтобы мы тут же выложили тайны погрязнее, сообщили о неслыханных пороках, словом, дали им побарахтаться в грязи, чтобы можно было вслух повозмущаться, а втихомолку посмаковать.

Эти люди охотно употребляют слово «дно».

— Чего только, должно быть, вы не насмотрелись на этом дне!

Я стараюсь не отвечать. Просто смотрю на них без всякого выражения, и они, видимо, правильно понимают этот взгляд, потому что чаще всего смущаются и больше не пристают.

Я многому научился, дежуря на улицах. Многому научился и на ярмарках, и в универмагах, повсюду, где толпится народ. Про опыт, приобретенный мною на Северном вокзале, я только что рассказал.

Но, вероятно, именно в меблирашках я лучше всего узнал людей, которые приводят в такой

ужас жителей богатых кварталов.

Тут уж не было нужды в подкованных башмаках — многокилометровый путь я проделывал не по тротуару, но, если можно так выразиться, ввысь.

Каждый день я проверял документы постояльцев в десятках, а то и сотнях номеров. Обычно это были меблированные комнаты, где лифт редкость и взбираешься на шестой или седьмой этаж в духоте лестничной клетки, а дыхание перехватывает от горького запаха нищеты.

В больших отелях с вращающимися дверями и швейцарами в ливреях тоже разыгрываются драмы и тоже есть тайны, в которые полиции приходится совать нос. Но именно в бесчисленных маленьких гостиницах под никому не известными названиями, еле заметными с улицы, ютится кочевое племя, за которым трудно уследить и которое живет, как правило, не в ладу с законом.

Ходили мы туда вдвоем. А в особо опасные кварталы — группой из нескольких человек. Являлись, когда большинство уже спит, — после полуночи. Это напоминало дурной сон все с теми же повторяющимися подробностями: ночной сторож, хозяин или хозяйка, спящие позади своей

конторки, неохотно просыпаются и сразу начинают с оправданий:

— Вы же знаете, у нас никогда не было неприятностей...

В прежние времена фамилии постояльцев заносились в книгу. Потом, когда ввели удостоверения личности, постояльцы стали заполнять карточку.

Один из нас оставался внизу. Второй шел наверх.

Подчас, несмотря на все предосторожности, о нашем приходе сразу становилось известно, весь дом пробуждался, гудя как улей, в комнатах поднималась суматоха, и уже кто-то крадучись бежал вниз по лестнице.

Иногда, войдя в номер, мы видели еще теплую постель и распахнутое оконце, выходящее на крышу.

Но обычно нам удавалось добраться до второго этажа, не подняв тревоги, и постучать в нужную дверь; в ответ раздавалось бормотание, почти всегда на чужом языке.

— Полиция!

Это слово было понятно всем. И вот мужчины, женщины, дети в ночных рубашках, а то и обнаженные, начинают метаться по комнате, в

полутьме и вони, шарить в каких-то немыслимых пожитках, разыскивая паспорт, спрятанный под тряпьем.

Надо было видеть эти глаза, исполненные тревоги, движения, еще скованные сном, и особую покорность, свойственную только людям, вырванным из родной почвы. Я бы сказал — гордую покорность.

Они не чувствовали к нам ненависти. Мы были хозяевами. Мы обладали — или, по крайней мере, они думали, что обладаем, — самой страшной властью: отправить их обратно через границу.

Многим из них, чтобы добраться сюда, понадобились годы хитрых уловок или терпеливого ожидания.

Они достигли земли обетованной. У них были документы, настоящие или фальшивые. И, протягивая нам эти документы и томясь страхом, как бы мы не сунули их себе в карман, они пытались задобрить нас улыбкой, что-то бормоча на ломаном французском языке.

Женщины не отличались целомудрием, порой в глазах у них мелькал вопрос, и они неуверенно поглядывали в сторону разобранной постели. Не соблазнимся ли мы? Не хотим ли развлечься?

И все же у этих людей была гордость, особая

гордость, — я не умею определить ее. Может быть, гордость дикого зверя?

Они смотрели на нас, как смотрят сквозь прутья клетки дикие звери, не зная, погладят их или ударят.

Один, охваченный паническим страхом, потрясал бумагами, лопоча по-своему, размахивая руками, обращаясь к остальным за поддержкой, стараясь убедить нас, что он человек честный, что нас ввели в заблуждение, что…

Другой плакал, третий угрюмо жался в угол, готовый, казалось, броситься на нас, а на самом деле уже смирившись со своей участью.

Проверка документов. Так называется эта операция на казенном языке. Те, у кого бумаги в полном порядке, остаются в своих комнатах и, проводив нас, запирают дверь со вздохом облегчения.

А другие…

— Выходите!

Если нас не понимают, мы к словам добавляем жест.

И они одеваются, что-то бормоча про себя. Они не знают, что из вещей можно взять с собой. И иногда, стоит нам отвернуться, бросаются к тайнику и суют что-то себе в карман или за пазуху.

Спустившись вниз, все стоят кучкой, молча, каждый думает только о себе, о том, как доказать свою невиновность.

В иных гостиницах предместья Сент-Антуан я заставал в комнате по семь-восемь поляков, обычно они спали на полу, вповалку.

А записан в книгу был только один. Знал ли об этом хозяин? Получал ли он с остальных за ночлег? Скорее всего, получал, но пойди докажи.

У этих остальных документов, разумеется, не было. Что они делали, когда на рассвете покидали эту комнату, единственное свое прибежище? Без трудовой карточки они не могли иметь постоянного заработка. Однако с голоду они не умирали. Следовательно, как-то кормились.

И в таком положении находились, да и теперь находятся тысячи, десятки тысяч человек.

Вы обнаруживаете деньги у них в карманах, или в тайнике за шкафом, или чаще всего в башмаках. Теперь надо выяснить, где и как они раздобыли эти деньги, и начинается самый утомительный из допросов.

Даже если они понимают по-французски, они прикидываются, что не понимают, с готовностью смотрят вам в глаза и без конца заверяют в своей невиновности.

Остальных допрашивать бесполезно. Они не выдадут. Все будут твердить одно и то же.

Кстати, больше половины преступлений в Парижском районе совершается иностранцами.

Лестницы, лестницы и опять лестницы. Не только ночью, но и днем, и всюду девки — профессиональные проститутки и еще совсем молодые и свежие, приехавшие Бог знает зачем из своих родных мест.

Я помню польку, которая делила с пятью мужчинами номер гостиницы на улице Сент-Антуан и наводила их на преступления, награждая затем по-своему того, кто вернулся с удачей; остальные бесновались от ревности тут же в номере и чаще всего набрасывались затем на обессилевшего счастливца.

Двое из них были звероподобными великанами, но она их не боялась, ей стоило только улыбнуться или нахмуриться, чтобы они присмирели; уже у меня в кабинете, во время допроса, один из этих огромных парней что-то сказал по-польски, и она преспокойно отвесила ему оплеуху.

«Чего только вы не насмотрелись!»

Я и в самом деле насмотрелся на разных людей, на мужчин и женщин в разных ситуациях, на

разных ступенях общественной лестницы. Смотришь, записываешь, пытаешься понять.

Только понять-то надо не какую-то общечеловеческую загадку. Против такой романтической идеи я ополчаюсь с особым раздражением, чуть ли не с яростью.

Поэтому, в частности, я и взялся за перо, чтобы внести некоторые поправки.

Надо отдать должное Сименону — его объяснения почти всегда правильны.

И все же мне часто становилось неловко, когда я читал в его книгах о каких-то своих улыбочках и ухватках, вовсе мне не свойственных, которые, наверное, заставили бы моих сотрудников в недоумении пожать плечами.

Лучше остальных это понимает, должно быть, моя жена. Поэтому, когда я прихожу домой, она не пристает ко мне с расспросами, какое бы дело я ни вел.

Я тоже, как говорится, не набиваюсь с рассказами. Сажусь обедать, как любой чиновник, вернувшийся со службы. И иногда в двух-трех словах, как бы невзначай, сообщаю о какой-нибудь встрече, допросе или подследственном.

Если жена и задаст вопрос, он всегда будет по существу:

— В каком же это районе?

Или:

— Сколько ему лет?

Или еще:

— А давно она во Франции?

Потому что все эти мелочи стали со временем так же важны для нее, как и для нас.

Но ее никогда не интересует побочная сторона дела, какой бы отвратительной или трогательной она ни была.

И Бог свидетель, это вовсе не говорит о ее равнодушии!

— Жена приходила к нему в предварилку?

— Сегодня утром.

— С ребенком?

По причинам, о которых я умолчу, ее особо интересуют те, у кого есть дети, а если вы полагаете, что у правонарушителей, злоумышленников и преступников не бывает детей, вы ошибаетесь.

Однажды мы приютили девочку — ее мать я отправил в тюрьму пожизненно, но мы знали, что отец возьмет ребенка, как только вернется к нормальной жизни.

Она и теперь у нас бывает. Это уже взрослая девушка, и моя жена с гордостью водит ее по магазинам.

Всем этим я хочу сказать, что мы относимся к тем, с кем по долгу службы имеем дело, без чувствительности, но и без жестокости, без ненависти, но и без жалости в обычном понимании этого слова. Люди — это материал, с которым мы работаем. Мы наблюдаем за их поведением. Отмечаем те или иные факты. Стараемся выяснить другие.

В какой-то степени мы можем сравнить нашу работу с точной наукой.

Еще в молодости, когда я обшаривал какую-нибудь подозрительную гостиницу от подвала до чердака, влезал в каждую ячейку этого улья, заставал людей спящими в самом неприглядном виде, рассматривал через лупу их бумаги, я мог предсказать почти наверняка, что станется с каждым из них.

Во-первых, иные лица мне были уже знакомы, ибо, как ни велик Париж, все же определенная среда весьма ограничена.

Во-вторых, дела повторяются едва ли не в точности, ибо одинаковые причины влекут за собой одинаковые следствия.

Злополучный уроженец Центральной Европы, который месяцами, а то и годами копил деньги, чтобы приобрести у себя на родине фальшивый

паспорт, и наконец благополучно перешел границу, надеясь, что теперь-то все позади, обязательно попадет к нам в руки через полгода, в крайнем случае через год.

Более того, мы можем мысленно проследить его путь от границы и точно сказать, в какой квартал, в какой ресторан, в какую гостиницу он явится.

Мы знаем, через кого он будет пытаться раздобыть трудовую карточку, настоящую или фальшивую, а затем нам останется только забрать его из очереди, которая выстраивается по утрам перед заводами Жавеля.

Зачем же негодовать и злиться на него, если он окажется именно там, где должен был оказаться?

То же самое и с молоденькой служанкой, впервые пришедшей на известную нам танцульку. Разве посоветуешь ей вернуться к хозяевам и впредь избегать ухажера, одетого с крикливым шиком?

Это ни к чему не приведет, она все равно будет ходить сюда. Потом мы встретим ее на других танцульках, а в один прекрасный вечер увидим у входа в гостиницу неподалеку от Центрального рынка или площади Бастилии.

Приблизительно десять тысяч девушек проходят за год этот путь, десять тысяч девушек уезжают из родных деревень в Париж и нанимаются служанками, а через несколько месяцев или даже недель они уже на самом дне.

А разве не то же случается с парнем лет двадцати, который после недолгой работы на заводе усваивает вдруг особую манеру держаться, небрежно облокачиваясь по вечерам о стойку весьма сомнительного бара?

Пройдет совсем немного времени — и вот на нем уже новехонький костюм, галстук и носки искусственного шелка.

А в конце концов он будет сидеть у нас, поглядывая исподлобья, понурив голову, после неудачной кражи со взломом, или вооруженного налета, или угона машины.

Некоторые признаки не обманывают, и в конечном счете мы учимся распознавать именно эти признаки, когда нас переводят из бригады в бригаду и мы шагаем по улицам, карабкаемся по этажам, проникаем в притоны, смешиваемся с толпой.

Вот почему мы никогда не обижаемся на прозвище «подкованные башмаки» и, пожалуй, даже гордимся им.

Мало найдется работников на набережной Орфевр, которые к сорока годам не знали бы, к примеру, всех карманников. Мы даже знаем, что встретим их на такой-то официальной церемонии, на таком-то празднике.

Точно так же мы можем довольно определенно предсказать, что в скором времени ожидается ограбление ювелирного магазина, поскольку специалист в этом деле, очень редко попадавшийся с поличным, уже спустил все, что у него было. Он переехал из отеля на бульваре Осман в гораздо более скромный, на площади Республики, и вот уже две недели не платит там по счету. Женщина, с которой он живет, устраивает ему сцены и давно не покупала новых шляпок.

Ходить за ним по пятам невозможно — не хватит полицейских, чтобы следить за всеми подозрительными лицами. Но ниточку мы держим в руках. Службе наружного наблюдения предписано внимательно наблюдать за ювелирными магазинами.

Мы знаем, как работает этот грабитель, знаем, что иным способом он работать не станет.

Нам не всегда сопутствует удача. Это было бы слишком хорошо. Иногда преступник бывает застигнут на месте преступления. Иногда пред-

варительно говорят с его подругой, осторожно давая понять, что в будущем ее ждет гораздо меньше осложнений, если она даст нам нужные сведения.

Газеты хорошо пишут о том, что, например, на Монмартре или вблизи улицы Фонтэн преступники затеяли между собой перестрелку, потому что ночные выстрелы всегда волнуют обывателя.

А на набережной Орфевр такие дела считаются самыми простыми.

Мы знаем все соперничающие шайки, их интересы, причины их раздоров. Мы знаем также, кто с кем враждует, кто кого ненавидит.

Одно преступление влечет за собой другое. Пристрелили Лючиано в баре на улице Дуэ? Значит, корсиканцы непременно отомстят, рано или поздно. И почти всегда кто-нибудь из них нам стукнет.

— Дэдэ Плосконогого скоро пришьют. Он окопался, показывается только с двумя головорезами.

Ставлю десять против одного, в тот день, когда с Дэдэ покончат, некое более или менее таинственное лицо сообщит нам по телефону все подробности.

Виновных мы все-таки арестуем, хотя это,

собственно, не так уж важно — ведь эти люди убивают только друг друга по причинам, известным только им, во имя каких-то своих, строго соблюдаемых законов.

Это и имел в виду Сименон, когда категорически заявил при нашей первой встрече: «Преступления профессионалов меня не интересуют!»

Но тогда он еще не знал и узнал гораздо позже, что другие преступления встречаются очень редко.

Об убийствах из ревности я не говорю — в них обычно не кроется никакой тайны, они представляют собой логическую развязку наболевших отношений между двумя или несколькими людьми. Не говорю я также и о поножовщине между пьяницами в субботние или воскресные вечера.

Кроме этих убийств, самые распространенные — убийство одинокой старушки одним или несколькими хулиганами и убийство проститутки где-нибудь на пустыре.

В первом случае преступнику чрезвычайно редко удается скрыться. Почти всегда это молодой парень, из тех, о ком я только что говорил, недавно бросивший завод и жаждущий прослыть среди своих отчаянным. Такой парень нацелится на любую табачную или галантерейную лавчонку,

только бы она помещалась на глухой улице. Один приобретет револьвер. Другого вполне устроит молоток или гаечный ключ. Чаще всего убийца знаком с будущей жертвой и по крайней мере в одном случае из десяти был хорошо ею принят.

Он пришел и не думая убивать. Натянул на лицо платок, чтобы его не узнали. Но то ли платок соскользнул, то ли старуха подняла крик. Он стреляет. Или наносит удар. Если стреляет, то выпускает сразу всю обойму, не помня себя. Если ударил, бьет еще десять, двадцать раз, бьет, казалось бы, зверски, а на деле — обезумев от ужаса.

Вам покажется странным, но, когда он сидит перед нами, понурый и в то же время еще хорохорясь, мы попросту говорим ему: «Ну и болван!»

Редко бывает, чтобы парень не поплатился за свое преступление головой. В лучшем случае, если им заинтересуется видный адвокат, он получает двадцать лет каторги.

Совсем иначе обстоит дело с убийцами проституток — такие только чудом попадают к нам в руки. Здесь нас ждет самое долгое, самое безнадежное и к тому же самое омерзительное расследование из всех, какие я знаю.

Начинается все с мешка, который речник подцепил в Сене багром, а в мешке почти всегда

спрятан изуродованный труп. Отрублена голова, или рука, или обе ноги.

Иногда проходит несколько недель, пока опознают труп. Как правило, это немолодая проститутка, из тех, что уже не водят клиента в гостиницу или к себе, а устраиваются с ним в подворотне или под забором. Внезапно она исчезает из своего квартала, из квартала, в котором с наступлением сумерек начинается своя, таинственная жизнь, выползают на улицу безмолвные тени.

Знакомые этой девицы не расположены с нами беседовать. На расспросы отвечают уклончиво.

В конце концов после долгих кропотливых поисков удается напасть на след кое-кого из ее клиентов — это одинокие, как и она, мужчины, без семьи, без возраста, внешность таких людей не запоминается.

Убийство из-за денег? Вряд ли. Какие у нее деньги!

Может быть, убийца внезапно потерял рассудок? А может быть, он не здешний, из другого квартала, какой-нибудь маньяк, одержимый предчувствием близкого припадка безумия, точно все рассчитавший и принявший такие меры предосторожности, до которых не додумается

обычный преступник?

Неизвестно даже, сколько их, таких убийц. Они есть в каждой столице, и, совершив преступление, возвращаются на более или менее долгое время к своей обыденной жизни.

Возможно, это почтенные люди, отцы семейств, примерные служащие.

Никто не знает, каковы они на вид, и, случись кому-то из них оказаться у нас в руках, виновность его будет почти невозможно доказать.

У нас имеются более или менее точные статистические данные обо всех видах преступлений.

За исключением одного: отравления.

Здесь все приблизительные подсчеты будут неверными — либо завышенными, либо заниженными.

Каждые три месяца или каждые полгода в Париже или в провинции, особенно в провинции, в каком-нибудь маленьком городишке либо в деревне, врач, случайно осматривая покойника несколько внимательнее, чем обычно, вдруг почему-то настораживается.

Я говорю «случайно», потому что покойный почти всегда его давний пациент. Он внезапно скончался в своей постели, в окружении семейства, которое оплакивает его по всем правилам.

Родным не нравится, когда врач предлагает сделать вскрытие; настаивает же он только в том случае, если считает свои подозрения достаточно обоснованными.

А бывает и так, что через несколько недель после похорон в полицию приходит анонимное письмо, где излагаются факты, на первый взгляд совершенно невероятные.

Я говорю об этом, желая показать, что лишь при условии целого ряда совпадений можно начать следствие по делу такого рода. Слишком сложны административные формальности.

Чаще всего жене фермера становится невтерпеж ждать смерти мужа, чтобы зажить в открытую с работником. Она помогает природе, как иные из них и заявляют потом напрямик.

Иногда, но реже, муж избавляется от больной жены, ставшей обузой в хозяйстве.

Обнаружить убийцу помогает случай. А сколько раз случай не пришел на помощь? Этого мы не знаем. Мы можем только строить предположения. В нашем ведомстве, точно так же, как на улице Соссе, многие сотрудники, в том числе и я, полагают, что среди преступлений, особенно преступлений нераскрытых, наибольший процент составляют отравления.

Остальные же убийства, интересные для писателей и так называемых психологов, настолько нехарактерны, что мы уделяем им в своей работе весьма незначительное внимание.

Однако именно эти убийства наиболее широко известны публике. О такого рода преступлениях много писал Сименон и, как мне кажется, будет писать и впредь.

Я говорю о преступлениях, внезапно совершенных в среде, где их меньше всего можно было ожидать, и представляющих собой как бы результат длительного, подспудного брожения.

Чистая улица с богатыми домами в Париже или любом другом городе. Ее обитатели, уважаемые люди, живут в комфортабельных квартирах, в кругу своих семей.

Нам не приходилось бывать у них. А если бы и удалось с большим трудом проникнуть в их круг, мы чувствовали бы себя там белыми воронами.

Но вот кто-то умирает насильственной смертью, и мы звоним у дверей; нас встречают непроницаемые лица, встречает семья, где у каждого, видимо, есть своя тайна.

Здесь не понадобится опыт, приобретенный на улице, на вокзалах, в меблирашках. Здесь не сыграешь на подсознательном страхе маленького

человека перед властями и полицией.

Никто не боится, что его препроводят обратно к границе. Никого не отведут в кабинет на набережной Орфевр, чтобы там часами допрашивать с пристрастием все об одном и том же.

Люди, с которыми мы теперь имеем дело, — это те самые благонамеренные господа, что при других обстоятельствах спросили бы нас: «Неужели вам не бывает противно от всего этого?»

Но именно у них нам и становится противно. Правда, не сразу. И не всегда. Потому что дело требует немало времени и решительности.

Еще хорошо, если министр, депутат или другое важное лицо не попытается по телефону затормозить следствие.

Приходится понемногу соскабливать прочный лак респектабельности и вытаскивать на свет Божий, невзирая на угрозы и негодование, неприглядные семейные тайны, которые все сообща пытаются от нас скрыть.

Иногда несколько человек дружно врут, отвечая на наши вопросы, и при этом потихоньку стараются потопить остальных.

Сименон любит изображать меня этаким неповоротливым брюзгой, который всегда чем-то раздражен, глядит исподлобья и отрывисто зада-

ет вопросы, едва ли не лает.

Таким он видел меня именно тогда, когда я занимался преступлением, так сказать, любительским, которое на поверку всегда оказывается преступлением из корыстных целей.

Но не из-за денег, то есть, я хочу сказать, их совершает не тот, кому позарез понадобились деньги, как жалким лодырям, убивающим старух. За респектабельным фасадом прячутся куда более сложные и далеко идущие расчеты, связанные с заботой о положении в обществе. Корни уходят в далекое прошлое, где таятся темные делишки, нечистоплотные махинации.

Когда наконец виновный приперт к стене и охвачен паническим страхом перед последствиями, признания одно гнуснее другого сыплются как из рога изобилия.

— Но ведь невозможно, согласитесь, чтобы наша семья была публично опозорена! Надо найти какой-то выход!

И выход, к сожалению, иногда находится.

Иной господин, которому надлежало бы прямиком из моего кабинета проследовать в камеру Санте, исчезает на время, потому что определенному нажиму не в силах противостоять полицейский инспектор и даже комиссар.

«Неужели вам не бывает противно?»

Нет, мне не было противно, когда полицейским инспектором по надзору за гостиницами я днем и ночью лазил по этажам грязных, перенаселенных меблирашек, где за каждой дверью скрывались невзгоды и драмы.

Не было мне противно и когда я сталкивался с профессиональными преступниками, которые прошли через мои руки.

Они вели игру и проиграли. Почти все старались держаться с достоинством, а иные после вынесения приговора просили навестить их в тюрьме, где мы дружески беседовали.

Я мог бы даже назвать тех, кто просил меня присутствовать при казни и дарил мне последний взгляд.

— Я буду молодцом, вот увидите!

И они старались, как могли. Правда, не всегда успешно. Я уносил в кармане последние письма, обещав передать их по назначению с припиской от себя.

Дома жене достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как прошел мой день.

Когда же дело касалось тех, о ком мне больше не хочется говорить, она тоже догадывалась о причине моего скверного настроения по тому,

как я садился к столу, как брал тарелку, и никогда ни о чем не спрашивала.

А это лучшее доказательство, что она не была предназначена для дорожного ведомства.

Глава 7,
в которой рассказывается об утре, праздничном, как звуки кавалерийских фанфар, и о молодом человеке, уже не слишком тощем, но еще не слишком толстом

Сейчас я явственно помню свет утреннего солнца в тот день. Стоял март. Весна наступила рано. Я уже привык ходить пешком, если только была такая возможность, от бульвара Ришар-Ленуар на набережную Орфевр.

Мне предстояла работа с картотекой бригады по надзору за гостиницами в помещении Дворца правосудия, в одном из самых темных кабинетов нижнего этажа, и я оставил приоткрытой низенькую дверцу, ведущую во двор.

Я старался держаться поближе к этой двери. Помню, что половину двора заливало солнце, другая была в тени, как и кого-то ожидавшая тюремная карета. Две лошади, запряженные в карету, время от времени били копытами по камням, на которых дымился на свежем ветру

золотистый навоз.

Сам не знаю почему, двор напоминал мне школьные переменки в такие же весенние дни, когда воздух вдруг обретает запах и кожа после беготни по двору тоже пахнет весной.

В кабинете, кроме меня, никого не было. Зазвонил телефон.

— Передайте, пожалуйста, Мегрэ, что его вызывает шеф.

Говорил старик курьер, проработавший во Дворце правосудия чуть ли не пятьдесят лет.

— Это я.

— Тогда поднимитесь.

Даже всегда пыльная главная лестница приобрела праздничный вид из-за косых солнечных лучей, которые хлынули на нее из окон, как через церковные витражи. Утренняя оперативка только что окончилась. Два комиссара с папками под мышкой продолжали разговор, стоя у двери шефа.

А в кабинете еще держался запах трубочного табака и сигарет. Окно за спиной Ксавье Гишара было распахнуто настежь, и в седых шелковистых волосах шефа вспыхивали солнечные блики.

Руки он мне не протянул. Он почти ни с кем не здоровался за руку. Однако мы с ним уже давно

сдружились, или, точнее, мы с женой считали за честь его расположение к нам.

Первый раз он пригласил меня одного к себе, на бульвар Сен-Жермен. Большой новый дом, в котором он живет, стоит не в том конце бульвара, где селятся богачи и снобы, а в другом, рядом с площадью Мобер, среди доживающих свой век зданий и убогих гостиниц. Затем я был у него еще раз, уже с женой. Они сразу поладили друг с другом.

Он очень хорошо относился и к ней и ко мне, но часто, сам того не ведая, причинял нам огорчения.

В начале знакомства, едва завидев Луизу, он принимался разглядывать ее фигуру с подчеркнутым вниманием, но, поскольку мы делали вид, будто ничего не понимаем, замечал, покашливая:

— Помните, я хочу быть крестным. Не заставляйте меня слишком долго ждать.

Шли годы. Он, очевидно, не догадывался об истинной причине и однажды, сообщая мне о первой прибавке к жалованью, сказал:

— Может быть, это позволит вам наконец подарить мне крестника.

Он так и не понял, почему мы краснеем, почему

жена опускает глаза, а я тихонько глажу ей руку.

В то утро в ярком свете весеннего дня лицо начальника казалось очень серьезным. Он не предложил мне сесть, и я почувствовал себя неловко под пристальным взглядом, которым он осматривал меня с головы до ног, как капрал осматривает новобранца.

— А знаете, Мегрэ, ведь вы толстеете!

Мне было тридцать лет. От прежней худобы не осталось и следа, плечи расширились, грудь раздалась, но толстым меня еще никак нельзя было назвать, хотя перемены в моей внешности были уже заметны. Наверное, в те дни я выглядел этаким румяным пузырем. Меня самого это неприятно удивляло, когда я проходил мимо витрин и бросал беспокойный взгляд на свое отражение.

Увы, толстел я неравномерно, и ни один костюм не сидел на мне как следует.

— Да, кажется, я и впрямь толстею.

Я едва не начал извиняться, не сообразив, что шеф по своему обыкновению шутит.

— Переведу-ка я вас в другую бригаду, так будет, пожалуй, лучше.

Оставалось две бригады, где я еще не служил, — по надзору за игорными домами и финансовая

бригада, мысль о которой меня страшила, как экзамен по тригонометрии в конце учебного года, как воспоминание о ночном кошмаре.

— Вам сколько лет?

— Тридцать.

— Прекрасный возраст! Отлично! Молодой Лесюер сменит вас в надзоре за гостиницами, а вы с сегодняшнего дня поступите в распоряжение комиссара Гийома.

Он произнес эти слова небрежной скороговоркой, словно речь шла о сущем пустяке, хорошо понимая, что у меня сердце так и прыгает от радости, а в ушах гремят победные фанфары.

Так в это прекрасное утро, будто нарочно выбранное для такого случая, — возможно, Гишар и впрямь его выбрал, — сбылась мечта моей жизни.

Я наконец поступил в особую бригаду.

Четверть часа спустя я перетащил наверх свой старый рабочий пиджак, кусок мыла, полотенце, карандаши и кое-какие бумаги.

Человек пять-шесть занимали просторную комнату, предназначенную для инспектора бригады по расследованию убийств, и комиссар Гийом, прежде чем вызвать меня к себе, дал мне расположиться, как новичку в классе.

— Обмоем это дело?

Я не стал отказываться. В полдень, сияя от гордости, я привел своих новых сотрудников в пивную «У дофины».

Они частенько там бывали и прежде, и я, сидевший тогда за другим столиком с прежними моими товарищами, смотрел на людей Гийома с уважением и не без зависти, как смотрят в лицее на старшеклассников, которые ростом уже догнали учителей и держатся с ними на равной ноге.

Сравнение оказалось удачным, так как с нами был сам Гийом, а вскоре присоединился и комиссар общего архива.

— Что будете пить? — спросил я.

Мы-то в нашем уголке обычно выпивали по полкружки пива, изредка аперитив. Но за этим столиком, разумеется, пили что-то другое.

Кто-то сказал:

— Кюрасо с мандариновым.

— Всем?

Никто не возразил, и я заказал уж не знаю сколько рюмок этого кюрасо. Я его пил впервые. Опьяненный победой, я нашел его совсем слабым.

— Еще по одной?

Разве это не случай проявить широту натуры?

Выпили по третьей, выпили и по четвертой. Потом мой новый шеф тоже захотел угостить нас.

Весенний свет заливал город. По улицам струились потоки солнца. Женщины в светлых платьях были восхитительны. Я пробирался сквозь толпу прохожих, поглядывал на себя в витрины и уже не казался себе таким толстым.

Я бежал. Летел. Ликовал. С первой ступени лестницы я начал речь, заготовленную для жены. А взлетев на последнюю, растянулся во весь рост. Не успел я встать, как наша дверь открылась, — видно, Луиза уже беспокоилась, что меня так долго не было.

— Очень ушибся?

Смешно, но именно в ту минуту, когда я поднялся на ноги, я почувствовал, что совершенно пьян, и очень этому удивился. Лестница вращалась вокруг меня. Фигура жены расплывалась. У нее было по крайней мере два рта и не то три, не то четыре глаза.

Хотите верьте, хотите нет, но со мной это случилось впервые, и мне было так стыдно, что я боялся взглянуть на жену. С виноватым видом я прошмыгнул в квартиру, и все победные речи, приготовленные заранее, вылетели у меня из головы.

— Кажется… Кажется, я немного выпил…

Я засопел, с трудом втягивая воздух. Стол перед распахнутым окном был накрыт на двоих. А я-то собирался пригласить ее в ресторан! Теперь об этом нечего было и думать!

Поэтому я мрачным тоном произнес:

— Порядок!

— Какой порядок?

Уж не испугалась ли она, что меня выгнали из полиции?

— Назначили!

— Кем назначили?

Кажется, у меня в глазах стояли слезы, слезы досады, но и радости, когда я наконец выговорил:

— В особую бригаду.

— Садись-ка. Я тебе сварю чашечку кофе.

Она пыталась меня уложить, но я не намерен был прогуливать в первый день новой жизни. Я выпил немыслимое количество черного кофе. Съесть я не мог ничего, несмотря на требования Луизы. Только принял душ.

Когда в два часа я возвращался на набережную Орфевр, у меня еще горели щеки и блестели глаза. Ноги подкашивались, в голове было пусто.

Я сел в свой уголок и старался говорить как можно меньше, оттого что голос мог меня подве-

сти, да и язык заплетался.

На другой день, как бы для испытания, мне впервые поручили задержать преступника. Это было в номерах на улице Руа-де-Сесиль.

Выслеживали его уже пять дней. За ним числилось несколько убийств. Это был иностранец, чех, если память мне не изменяет, силач, всегда вооруженный, всегда начеку.

Надо было его обезоружить, чтобы он не стал отстреливаться, — он был из тех, кто сразу начинает палить наудачу в толпу и может перебить немало народу, пока его самого не уложат.

Он знал, что ему крышка, что полиция идет за ним по пятам, но почему-то еще не решается его брать. На улице он старался держаться в гуще толпы, отлично понимая, что мы рисковать не станем.

Меня назначили в помощь инспектору Дюфуру, который занимался этим делом уже несколько дней и знал каждый шаг преступника за последнее время.

Впервые в жизни пришлось переодеться в чужое платье. Если явиться в эту грязную гостиницу в обычной нашей одежде, поднимется переполох и подопечный может под шумок удрать.

Мы с Дюфуром напялили старое тряпье и

для пущего правдоподобия оставили на щеках двухдневную щетину. Молодой инспектор, специалист по замкам, проник заранее в гостиницу и изготовил превосходный ключ для нужной нам комнаты.

Мы заняли номер на той же площадке до того, как чех пришел ночевать. Вскоре после одиннадцати нам с улицы подали сигнал, что он поднимается по лестнице.

План задержания был разработан не мной, а Дюфуром, поступившим в особую бригаду гораздо раньше меня.

И вот неподалеку от нас преступник запирает дверь, ложится одетым на кровать, держа, по всей вероятности, заряженный револьвер под рукой.

Мы не спим. Ждем, пока рассветет. Если вы меня спросите почему, я отвечу словами Дюфура, которому я, охваченный нетерпением, задал тот же вопрос.

Услышав, что мы входим, убийца первым делом разобьет газовый рожок, освещающий комнату. Мы окажемся в темноте, и это сразу даст ему преимущество.

— На рассвете человеку всегда труднее сопротивляться, — утверждал Дюфур, и впоследствии я убедился, что он прав.

Мы проскользнули в коридор. Кругом все спали.

С чрезвычайной осторожностью Дюфур повернул ключ в замке.

Мы договорились, что первым на преступника брошусь я, так как я был повыше и потяжелее Дюфура; я рухнул на человека, лежавшего в кровати, и схватил его.

Не знаю, сколько длилась борьба, мне она показалась бесконечной. Мы скатились на пол. Свирепое лицо вплотную придвинулось к моему. Мне запомнились очень крупные, ослепительно белые зубы. Рукой он схватил меня за ухо, силясь оторвать его.

Я не знал, что делает Дюфур, но вдруг увидел, как лицо моего противника исказилось от боли и ярости.

Постепенно он ослабил хватку. Когда я смог повернуться, то увидел, что Дюфур сидит на полу по-портновски и держит ногу преступника, бьюсь об заклад, он вывернул ее по меньшей мере дважды.

— Наручники! — скомандовал Дюфур.

В свое время я надевал наручники менее опасным личностям, например брыкающимся девкам. Но впервые задержал такого преступника,

и звяканье наручников означало конец схватки, которая могла для меня плохо кончиться.

Когда при мне заговаривают о так называемом нюхе полицейского или о его методах, его интуиции, мне так и хочется спросить:

— А как насчет нюха у вашего сапожника или вашего кондитера?

Ведь тот и другой тоже обучались не один год. Знают свое ремесло и все, что с ним связано.

Как и служащие с набережной Орфевр. Вот почему все, что мне случалось читать о полицейских, в том числе и написанное моим другом Сименоном, всегда содержит неточности.

К примеру, мы сидим на службе и составляем рапорты. Кстати, это тоже входит в наши обязанности.

Сказать по правде, мы тратим куда больше времени на писанину, чем на расследование в собственном смысле слова.

Нам докладывают, что в приемной ждет пожилой человек, чем-то, видимо, очень расстроенный, и хочет немедленно видеть начальника. Нечего и говорить, что у того нет времени принять всех, кто явится, а каждый хочет во что бы то ни стало беседовать только с начальником, ибо его пустячное дело представляется ему един-

ственно заслуживающим внимания.

И вот курьер скучным голосом уже в который раз повторяет, словно заученную молитву:

— Он говорит, это вопрос жизни и смерти.

— Примешь его, Мегрэ?

Для таких разговоров отведен маленький кабинетик рядом с инспекторской.

— Садитесь. Сигарету?

Обычно мы угадываем профессию и социальное положение посетителя прежде, чем он сам их назовет.

— Я к вам пришел по очень щекотливому и сугубо личному делу.

Банковский кассир или страховой агент, человек, живущий спокойной, размеренной жизнью.

— Ваша дочь?

Речь пойдет либо о его сыне, либо о дочери, либо о жене. И мы чуть ли не дословно знаем наперед историю, которую он сейчас выложит. Нет. На этот раз он говорит не о сыне, запустившем руку в хозяйскую кассу. Не о жене, сбежавшей с молодым человеком.

Но о дочери: девушка получила отменное воспитание, никогда не давала родителям повода к недовольству. Нигде не бывала, время проводила дома, помогала матери по хозяйству.

Подруги у нее тоже девушки серьезные. Почти никогда она не выходила из дому одна.

И вдруг исчезла, забрав кое-что из своих вещей.

Ну что на это ответишь? Что каждый месяц в Париже исчезает примерно шестьсот человек, а найти удается только четыреста?

— Ваша дочь красива?

Он принес несколько фотографий, уверенный, что это поможет розыску. Если дочь красива — тем хуже, меньше надежд на удачу. Если же она, напротив, дурнушка, то, по всей вероятности, вернется через несколько дней или недель.

— Можете на нас рассчитывать. Мы примем меры.

— Когда?

— Сейчас же.

Он станет звонить нам каждый день, по два раза, а нам нечего будет сообщить ему, разве только что мы еще не успели заняться этой девицей.

После недолгого расследования мы обычно узнаем, что некий молодой человек, живший в том же доме, или продавец из соседней бакалейной лавки, или братец одной из подруг исчез в тот же день, что и она.

Нельзя же прочесать Париж и всю Францию в

поисках девушки, сбежавшей из дома, а поэтому ее фотография через неделю добавится к тем, которые мы размножаем и рассылаем в комиссариаты, различные полицейские службы и на границы.

Одиннадцать часов вечера. Телефонный звонок из дежурного пункта, расположенного напротив, в здании муниципальной полиции, — туда передаются все срочные телефонные вызовы, и каждый из них регистрируется на световом табло, занимающем целую стену.

В участок Пон-де-Фландр только что сообщили об убийстве в баре на улице Криме.

Это на другом конце Парижа. Теперь в распоряжении уголовной полиции есть несколько машин, но в прежние времена приходилось брать извозчика, а потом такси, расходы на которые не всегда оплачивались.

Бар на углу еще открыт, одно из окон разбито, какие-то тени осторожно жмутся в стороне — жители этого района предпочитают держаться подальше от полиции.

Полицейские в форме уже здесь, «скорая помощь» тоже.

На заплеванном полу, посыпанном опилками, лежит скорчившись человек, он держится за

грудь, и сквозь его пальцы ручьем льется кровь, собираясь в лужицу.

— Умер!

Рядом с мертвецом на полу чемоданчик, раскрывшийся, когда убитый, падая, выронил его; из чемоданчика высыпались порнографические открытки.

Хозяин бара встревожен и пытается убедить нас, что он здесь ни при чем:

— Все было тихо-мирно, как всегда. У нас тут скандалов не бывает.

— Вы его раньше видели?

— Нет.

Этого следовало ожидать. Судя по всему, хозяин отлично знает убитого, но будет упорно твердить, что впервые увидел его сегодня.

— Что произошло?

Убитый — человек неприметной наружности, среднего возраста, вернее, вообще без возраста. Одет в старый, заношенный костюм, воротник рубашки черный от грязи.

Бесполезно разыскивать его семью или квартиру. По всей вероятности, он ютился в третьеразрядных номерах, неделю в одном месте, неделю в другом, а товаром своим торговал в районе Тюильри и Пале-Рояля.

— В баре было три или четыре посетителя…

Где они — спрашивать тоже бесполезно. Их и след простыл, в свидетели не позовешь.

— Вы их знаете?

— Можно сказать, нет. Только по виду…

Черт возьми! Все эти ответы заранее известны.

— Потом вошел какой-то незнакомый человек и уселся как раз напротив него, за другим концом стойки.

Стойка имеет форму подковы, на ней — опрокинутые рюмки, в нос бьет запах дешевого вина.

— Они не разговаривали. Первый вроде бы испугался. Сунул руку в карман за деньгами…

Это верно, оружия при убитом не было.

— А тот, не говоря ни слова, выхватил пушку и выстрелил три раза подряд. Он бы еще стрелял, если б не осечка. Потом преспокойно нахлобучил шляпу и ушел.

Картина ясна. И никакого нюха тут не требуется.

Круг поисков весьма ограничен.

Не так уж их много, торговцев такого рода картинками. Мы их знаем почти наперечет. Время от времени они проходят через наши руки, отбывают небольшой срок и опять берутся за свое.

На ботинках убитого — ноги у него грязные,

носки дырявые — марка берлинской фирмы. Он здесь чужак.

Ему, очевидно, дали понять, что в этих краях ему делать нечего. А может быть, он на кого-то работал, его послали с товаром, а он присвоил выручку.

На расследование уйдет дня три, от силы четыре.

Никак не больше. К розыску подключается бригада, в ведении которой меблирашки, и назавтра будет известно, где проживал убитый. Полиция нравов со своей стороны будет наводить справки, имея в руках его фотографию.

Сегодня возле Тюильри задержат несколько подозрительных личностей, с таинственным видом предлагающих прохожим все тот же товар.

Обойдутся с ними не слишком ласково. В прежнее время им бы еще не так досталось.

— Ты с этим типом встречался?

— Нет.

— Уверен?

Есть у нас на первом этаже такая каморка, темная-претемная, тесная-претесная, как шкаф, куда отправляют тех, у кого плохая память, и обычно через несколько часов они уже дубасят в дверь.

— Кажется, я его видел…

— Фамилия?

— Я знаю только имя: Отто.

Клубок разматывается медленно, но он размотается до конца.

— Он педик!

Отлично! Круг розысков совсем сужается.

— На улице Бонди он не бывал?

Обязательно бывал. Там есть маленький бар, который посещают педерасты из определенного слоя общества — самого низкого. Есть еще один такой бар, на улице Лапп, куда заходят поглазеть туристы.

— С кем ты его там видел?

Дело почти закончено. Остается только, когда преступник будет у нас в руках, добиться, чтобы он сознался и подписал свои показания.

Но не все дела так просты. На некоторые розыски уходит несколько месяцев. А иных преступников удается задержать только через несколько лет, и зачастую совсем случайно.

Но всегда или почти всегда путь расследования одинаков.

Главное — знать среду, в которой совершено преступление, образ жизни, привычки, нравы, поведение людей, замешанных в нем, будь то жертвы, виновники или просто свидетели. Ниче-

му не удивляться, проникая в их мир, держаться с ними по-свойски, говорить на их языке.

Это правило остается неизменным всюду: в бистро возле Ла-Виллетт или Итальянских ворот, среди арабов, среди поляков и итальянцев, среди веселых девиц в кабачках на площади Пигаль и хулиганов района Терн.

Оно неизменно и на бегах, и в игорных клубах, среди взломщиков сейфов и похитителей драгоценностей.

Вот почему мы не тратим попусту время, топая по улицам, карабкаясь вверх по лестницам, подстерегая воровок в универмагах.

Это наши годы учения, такого же учения, как у сапожника и булочника, с той разницей, что мы учимся чуть ли не всю жизнь, ибо круг людей, с которыми мы сталкиваемся, практически безграничен.

Девки, карманники, карточные шулера, грабители или специалисты по подделке чеков узнают друг друга с первого взгляда.

То же самое можно сказать о полицейских, у которых за плечами годы службы. И дело вовсе не в подкованных башмаках и не в усах.

Думаю, что сходство кроется во взгляде, в определенной реакции — а вернее, в отсутствии

реакции — на определенных людей, определенные несчастья, определенные отклонения от нормы.

Пусть не обижаются авторы романов, но полицейский — прежде всего профессионал. Чиновник.

Он не разгадывает загадок, не увлекается захватывающей охотой.

Когда он ночью мокнет под дождем, не спуская глаз с плотно закрытой двери или освещенного окна, когда он терпеливо топчется на бульварах, разыскивая на террасах кафе знакомое лицо, или готовится к многочасовому допросу бледного от страха человека, он выполняет свою повседневную работу.

Он добывает свой хлеб, добросовестно трудится за жалованье, которое правительство выплачивает ему в конце месяца.

Я знаю, что моя жена, прочитав эти строки, покачает головой, посмотрит на меня с упреком и, может быть, тихо скажет:

— Вечно ты преувеличиваешь! — И, вероятно, добавит: — Люди будут неверно думать о тебе и твоих сотрудниках.

Она права. Возможно, я и впрямь преувеличиваю, но это моя реакция на ходячие представле-

ния, которые так меня раздражают.

Сколько раз после появления очередной книги Сименона мои сотрудники, посмеиваясь, смотрели, как я вхожу к себе в кабинет.

Я читал в их глазах: «Гляди-ка! Сам Господь Бог явился!»

Вот почему я делаю такой упор на слове «чиновник», хотя иным, может быть, и покажется, будто этим я принижаю нашу профессию.

Чиновником я был почти всю жизнь. Я стал им чуть ли не с юности благодаря инспектору Жакмену. Точно так же, как мой отец в свое время стал управляющим поместьем. И так же гордился своей профессией. Так же стремился постичь все тонкости своего ремесла и добросовестно выполнять свою работу.

Разница между прочими чиновниками и теми, кто служит на набережной Орфевр, заключается в том, что последние сохраняют своеобразное равновесие между двумя мирами.

Их одежда, воспитание, жилье, образ жизни такие же, как у всех людей среднего класса, и они так же мечтают о собственном загородном домике.

Однако почти все свое время они посвящают изнанке жизни, отбросам, накипи, тем, кто поку-

шается на организованное общество.

Я не раз удивлялся этому противоречию, от которого мне порой становилось не по себе.

Я живу в буржуазной квартире, чисто прибранной и удобной, к моему приходу всегда готово аппетитное жаркое. Из своего окна я вижу квартиры, похожие на нашу, матерей, гуляющих с детьми на бульваре, хозяек, идущих за покупками.

Разумеется, я принадлежу к этой среде, к тем, кого называют порядочными людьми.

Но ведь я знаю и других, знаю их так хорошо, что между ними и мной установилась определенная связь.

Девки из пивной на площади Республики, мимо которых я прохожу, знают, что я понимаю их язык и смысл каждого жеста. Знает это и мошенник, шныряющий в толпе. И еще многие другие, кого я встречал и встречаю каждый день, в чью жизнь, скрытую от посторонних глаз, я проникаю.

Разве этого мало, чтобы образовались некие узы?

Это не значит, что надо оправдывать этих людей, поощрять, отпускать им грехи. Это не значит также, что надо создавать вокруг них ореол, как это модно было одно время.

Надо только принять их как факт и взглянуть на них трезво. Без любопытства, ибо любопытство быстро притупляется. И без ненависти, разумеется. Словом, смотреть на них как на людей, реально существующих и которых, заботясь о здоровье общества и порядке, надо держать, хотим мы того или нет, в определенных границах и карать, когда они эти границы преступают.

Они-то это понимают! И не питают к нам злобы.

Они часто говорят: «Такая у вас работа».

А вот что они думают о нашей работе, я предпочитаю не знать.

Что же тут удивительного, если после двадцати пяти — тридцати лет службы в полиции у вас тяжелая походка и взгляд тоже тяжелый, а подчас и пустой?

«Неужели вам не бывает противно?»

Нет! Нисколько! И наверное, именно благодаря своей работе я получил довольно прочный запас оптимизма.

Перефразируя изречение моего преподавателя закона Божьего, я мог бы сказать: «Малое знание отталкивает от человека, большое приближает к нему».

Именно потому, что мне довелось повидать

немало мерзостей всякого рода, я понял, что они отнюдь не исключают мужества, доброй воли или смирения.

Законченных негодяев очень мало, и большинство из тех, с кем я столкнулся, были, к сожалению, недосягаемы для меня, да и для всей нашей службы тоже.

Что касается других — я всегда старался, чтобы они не натворили слишком много дурного и заплатили за содеянное.

А потом? Что ж, счет оплачен, и незачем к нему возвращаться.

Глава 8,
в которой рассказывается о площади Вогезов и приводятся некоторые замечания госпожи Мегрэ

— Собственно говоря, — сказала Луиза, — я не вижу особой разницы.

Я всегда немножко волнуюсь, когда она читает то, что я написал, и стараюсь заранее приготовить ответы на возможные замечания.

— Какой разницы?

— Разницы между тем, что ты пишешь о себе, и тем, что написал о тебе Сименон.

— А!

— Может быть, я зря сказала тебе это.

— Вовсе нет! Напротив!

Однако, если она права, я напрасно старался.

А вполне возможно, что она права, и я не сумел взяться за дело, как-нужно, и рассказать обо всем, как задумал.

Тогда, стало быть, пресловутое изречение о том, что приукрашенная истина правдоподобнее голой правды, отнюдь не парадокс.

Я старался, как мог. Только вот беда — когда я начал писать, мне очень многое казалось чрезвычайно важным, на многом я хотел остановиться, а потом, в ходе работы, раздумал. Например, у меня на книжной полке стоят томики Сименона, испещренные моими пометками синим карандашом, и я заранее радовался, что исправлю все ошибки, совершенные автором то ли по незнанию, то ли из стремления поэффектнее изобразить дело, а скорее всего, потому, что он поленился позвонить мне и уточнить ту или иную подробность.

Да и зачем? Еще подумают, будто я брюзга, к тому же я и сам начинаю понимать, что все эти мелочи и впрямь не так уж важны.

Пожалуй, всего более меня бесила привычка Сименона путать даты, относить к началу моей службы расследования, проведенные куда позже, или наоборот, так что либо мои инспектора выглядели у него совсем мальчишками, в то время как на самом деле они были уже степенными отцами семейств, либо получалась обратная и столь же неверная картина. У меня даже было намерение — теперь, признаюсь, я от него отказался — установить при помощи газетных вырезок, собранных моей женой, точную хронологию особо

важных дел, в которых я принимал участие.

— А почему бы и нет? — ответил Сименон на это мое предложение. — Отличная мысль. Можно будет внести исправления в следующие издания. — И без малейшего ехидства добавил: — Только придется вам, дружище, самому потрудиться, у меня никогда не хватает духа перечитывать собственные книги.

А в общем-то я изложил все, что собирался, и ничего не поделаешь, если получилось неудачно. Мои сотрудники меня поймут, поймут и те, кто так или иначе причастен к нашей работе, а ведь их-то я и имел в виду, когда пытался внести ясность в некоторые вопросы и поговорить не столько о себе, сколько о своем ремесле.

Но что-то очень важное я, видимо, упустил. Я слышу, как жена тихонько открывает дверь столовой, где я работаю, и на цыпочках подходит ко мне. Она кладет на стол листочек бумаги и так же бесшумно выходит.

Я читаю нацарапанные карандашом слова: «*Площадь Вогезов*» — и не могу удержаться от довольной улыбки:

Луиза тоже хочет внести кое-какие поправки, движимая той же, что и я, верностью.

Луиза по-прежнему верна нашей квартирке на

бульваре Ришар-Ленуар, с которой мы не расставались, хотя с тех пор, как переехали за город, проводим там всего несколько дней в году.

А Сименон в некоторых своих книгах переселил нас на площадь Вогезов, даже не объяснив почему.

Итак, выполняю поручение жены. Мы действительно несколько месяцев прожили на площади Вогезов. Но не в своей квартире.

В тот год наш домовладелец затеял наконец ремонт, в котором здание давно нуждалось. Рабочие взгромоздили леса перед нашими окнами. А другие стали пробивать в стенах и полу нашей квартиры отверстия для центрального отопления. Нам обещали, что ремонт займет не более трех недель. Но две недели прошло, а дело с места не сдвинулось, к тому же еще разразилась забастовка строителей, которой не было видно конца.

Сименон как раз уезжал в Африку примерно на год.

— Почему бы вам не переехать ко мне, на площадь Вогезов, пока не кончат ремонт?

Вот как случилось, что мы некоторое время жили на площади Вогезов, в доме номер 21, если быть точным, но это нельзя назвать изменой

нашему любимому старому бульвару.

А однажды без всякого предупреждения Сименон отправил меня в отставку, хотя я о ней не помышлял и мне предстояло прослужить еще несколько лет.

Мы тогда купили домик в Мэн-сюр-Луар и приводили его в порядок по воскресеньям, когда я бывал свободен. Сименон приехал навестить нас. И ему там настолько понравилось, что в следующей книге он забежал вперед, без зазрения совести состарил меня и поселил навсегда за городом.

— Надо же было хоть немного изменить обстановку, — заявил он, когда я ему об этом сказал. — Мне начинает надоедать эта набережная Орфевр.

Да будет мне позволено подчеркнуть эту фразу, ибо она кажется мне поистине чудовищной. Ему, видите ли, надоели моя Набережная, мой кабинет, моя повседневная работа в уголовной полиции!

Однако это не помешало ему и, вероятно, не помешает впредь описывать мои старые дела, не называя дат и делая меня то сорокалетним мужчиной, то почти стариком.

Опять входит жена. Кабинета у меня здесь

нет. Да он мне и не нужен. Когда мне вздумается поработать, я устраиваюсь в столовой, а Луизе остается кухня, что ее вовсе не огорчает. Я смотрю на нее, полагая, что она хочет мне что-то сказать. Но она опять держит в руке листочек бумаги и робко кладет его передо мной.

На сей раз это листок из блокнота, на каких она обычно пишет, что надо купить, когда я еду в город.

Первым в списке стоит наш племянник, и я тотчас догадываюсь почему. Это сын Луизиной сестры. Когда-то я устроил его на службу в полицию — мальчишке казалось, что там он найдет свое призвание. Сименон не раз упоминал о нем, потом парень исчез со страниц его книг, и я отлично понимаю, что беспокоит жену.

Она боится, как бы у читателей не зародилось подозрение, что ее племянник был замешан в чем-то неблаговидном.

На деле все обстоит очень просто. Он не блеснул талантом, как надеялся, и довольно скоро принял предложение своего тестя, фабриканта мыла в Марселе, работать на его предприятии.

Следующим стоит Торранс, толстяк Торранс, шумный Торранс (если не ошибаюсь, Сименон где-то писал о его смерти, хотя убили совсем дру-

гого инспектора, при мне, в отеле на Елисейских полях). Тестя в мыловаренном деле у Торранса не было. Зато у него была неистребимая жадность к жизни и деловая хватка, что плохо сочетается с чиновничьим существованием.

Он ушел от нас, открыл частное сыскное агентство — добавлю сразу, агентство солидное, а это встречается не часто. И порой наведывался к нам на Набережную то за помощью, то за справкой, а то просто подышать родным воздухом.

Время от времени у нашего подъезда останавливается огромная машина американской марки, из нее выходит Торранс, а с ним красивая женщина, всякий раз другая, и он всякий раз представляет ее как свою невесту.

Я читаю третье имя в списке, имя малыша Жанвье, как мы его называли. Он по-прежнему работает на Набережной. И как знать, возможно, его по-прежнему зовут малышом.

В последнем письме он не без грусти сообщил мне, что его дочь выходит замуж за инженера.

Потом идет Люка — уж он-то, наверное, сидит сейчас в моем кабинете, на моем месте и курит одну из моих трубок, которую почти со слезами выпросил у меня на память.

А вот и последнее слово на листочке моей

жены.

Сперва мне кажется, что это имя, но я не могу разобрать чье.

Иду на кухню, к моему удивлению залитую ярким солнцем — в столовой ставни закрыты, мне лучше работается в полутьме.

— Все прочитал?

— Нет. Одно слово не разберу.

Она смущается:

— Ну и Бог с ним.

— Что же это за слово?

— Да так, не важно.

— Я, разумеется, настаиваю.

— Сливянка! — сознается она наконец, отвернувшись.

Она прекрасно знает, что я рассмеюсь, и я действительно хохочу во все горло.

Когда речь шла о моем знаменитом котелке, о пальто с бархатным воротником, печурке и кочерге, я чувствовал, что мое упрямое желание все уточнить кажется ей ребячеством. Тем не менее она нацарапала слово «сливянка» нарочно неразборчиво из какой-то застенчивости, вроде той, которую она испытывает, когда, составляя для меня список необходимых покупок, ставит в конце что-нибудь из принадлежностей женского

туалета.

В книгах Сименона не раз упоминается заветная бутылочка, стоявшая в буфете на бульваре Ришар-Ленуар, — она и теперь стоит здесь, — из запаса, который по свято соблюдаемой традиций каждый год пополняет свояченица, когда приезжает из Эльзаса погостить у нас.

Сименон не долго думая окрестил этот напиток сливянкой. На самом деле это малиновая настойка. Но для эльзасца, оказывается, это недопустимая ошибка.

— Я исправил, Луиза. Твоя сестра будет довольна. — На этот раз я оставил кухонную дверь открытой. — Больше ничего?

— Напиши Сименонам, что я вяжу носочки для…

— Но я же не письмо пишу!

— Верно. Тогда сделай заметочку, чтоб не забыть в письме. Да еще напомни, пусть пришлют фотографию, как обещали.

Потом она спросила:

— Накрывать на стол?

Вот и все.